



Жизнь и времена либеральной демократии

К.Б. Макферсон

СЕРИЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ТЕОРИЯ

ВЫСШАЯ

ШКОЛА

ЭКОНОМИКИ

С Е Р И Я
П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Т Е О Р И Я

THE LIFE
AND TIMES
OF LIBERAL
DEMOCRACY

C.B. MACPHERSON

ЖИЗНЬ
И ВРЕМЕНА
ЛИБЕРАЛЬНОЙ
ДЕМОКРАТИИ

К. Б. МАКФЕРСОН

Перевод с английского
АЛЕКСАНДРА КЫРЛЕЖЕВА



Издательский дом
Государственного университета — Высшей школы экономики
МОСКВА, 2011

УДК 321.7
ББК 66.3
М17

Составитель серии
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Дизайн серии
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Научный редактор
АРТЕМ СМИРНОВ

Макферсон, К. Б.

М17 Жизнь и времена либеральной демократии [Текст] / пер. с англ. А. Кырлежева; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2011. — 176 с. — (Политическая теория). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-0780-3 (в пер.).

В настоящей работе выдающийся канадский политический философ К.Б. Макферсон (1911–1987) рассматривает последовательную смену четырех моделей либеральной демократии в XIX–XX вв. и показывает историческую зависимость политического устройства от капиталистической экономики.

Написанная доступным языком, книга представляет интерес не только для политологов и философов, но и для широкого круга читателей.

УДК 321.7
ББК 66.3

The Life and Times of Liberal Democracy, first edition, was originally published in English in 1977. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

Книга «Жизнь и времена либеральной демократии» впервые опубликована на английском языке в 1977 году.

Данный перевод публикуется по соглашению с Oxford University Press

ISBN 978-5-7598-0780-3 (рус.)

ISBN 0-19-289106-5 (англ.)

© С.В. Macpherson, 1977

© Перевод на рус. яз., оформление.

Издательский дом Государственного университета — Высшей школы экономики, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
I. МОДЕЛИ И ПРЕДТЕЧИ	
1. ПРИРОДА ИССЛЕДОВАНИЯ	8
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ	10
3. ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ	20
II. МОДЕЛЬ 1: ПРОТЕКЦИОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ	
1. РАЗРЫВ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ	40
2. УТИЛИТАРИСТСКАЯ ОСНОВА	43
3. ЦЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА У БЕНТАМА	45
4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ	55
5. МЕТАНИЯ ДЖЕЙМСА МИЛЛЯ	60
6. ПРОТЕКЦИОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА РЫНКА	67
III. МОДЕЛЬ 2: ДЕМОКРАТИЯ РАЗВИТИЯ	
1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОДЕЛИ 2.	70
2. МОДЕЛЬ 2А: ДЕМОКРАТИЯ РАЗВИТИЯ ДЖ.С. МИЛЛЯ	79

3. УКРОЩЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВА ГОЛОСА	99
4. МОДЕЛЬ 2Б: ДЕМОКРАТИЯ РАЗВИТИЯ XX В.	107

IV. МОДЕЛЬ 3: ДЕМОКРАТИЯ РАВНОВЕСИЯ

1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ РЫНОЧНАЯ АНАЛОГИЯ.	118
2. АДЕКВАТНОСТЬ МОДЕЛИ 3	126
3. НЕУСТОЙЧИВОСТЬ МОДЕЛИ 3	139

V. МОДЕЛЬ 4: ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИДЕИ	141
2. ВОЗМОЖНО ЛИ НЫНЕ БОЛЬШЕЕ УЧАСТИЕ?	143
3. МОДЕЛИ ДЕМОКРАТИИ УЧАСТИЯ	162
4. ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ КАК ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ?	171
ОБ АВТОРЕ	173

ПРЕДИСЛОВИЕ

Читатель может удивиться краткости этой книги. Название «Жизнь и времена» обычно предполагает книгу раз в десять больше по объему. Но для выполнения моего замысла такой объем не нужен, потому что я собираюсь четко обозначить сущность либеральной демократии, как она понимается ныне, а также как она понималась в прошлом и может пониматься в будущем. Краткость больше подходит для этой цели, чем подробное изложение. Однако я надеюсь, что мой анализ достаточно серьезен для того, чтобы описать образцы, которые я выявил, и оправдать критику и похвалы, от которых я не вижу причин воздерживаться.

Предшествующие варианты этой работы были последовательно представлены в нескольких университетах: наиболее ранний и пробный — в Университете Британской Колумбии, а более поздние, в каждом из которых была учтена прозвучавшая критика, — в Институте дополнительного обучения Австралийского национального университета, Институте философии Университета Орхуса и в Университете Торонто. Части этой работы были также представлены и подверглись обоснованной критике в некоторых университетах Соединенных Штатов и некоторых других университетах Канады. Коллеги и студенты, которые принимали участие в обсуждении во всех этих странах, увидят, насколько были для меня полезны их критические замечания. Некоторые желали бы, чтобы последствия этой критики были бы серьезнее. Но я благодарю всех.

*Университет Торонто
4 октября 1976 г.*

К. Б. М.

I. Модели и предтечи

1. ПРИРОДА ИССЛЕДОВАНИЯ

Никто не принимается за написание «Жизни и времен», пока жив герой жизнеописания. Следует ли тогда рассматривать либеральную демократию столь близкой к своему концу, что можно отважиться описать ее жизнь и времена? Краткий ответ, предreshающий то, что я буду доказывать: да, если под либеральной демократией понимается, как это все еще, как правило, бывает, демократия капиталистического рыночного общества (неважно, насколько это общество кажется изменившимся с возникновением государства всеобщего благосостояния); и в то же время — не обязательно, если под либеральной демократией понимается (как это делали Джон Стюарт Милль и этические либерал-демократы, наследовавшие ему в конце XIX — начале XX в.) общество, стремящееся к обеспечению того, чтобы все его члены были одинаково свободны реализовать свои способности. К несчастью, либеральная демократия может означать и то, и другое. Ибо «либеральная» может означать свободу более сильных обманывать более слабых, следуя правилам рынка; или же может означать действительную свободу всех использовать и развивать свои способности. Вторая свобода несовместима с первой.

Трудность состоит в том, что либеральная демократия в течение почти всей своей жизни (которая, как я буду настаивать, началась лишь около ста пятидесяти лет назад в качестве понятия, став позднее действующим институтом) старалась соединить эти два значения. Ее жизнь началась в капиталистических ры-

ночных обществах, и с самого начала она приняла их основное бессознательное допущение, которое можно выразить словами «Рынок создает человека». Вместе с тем довольно рано, начиная с Джона Стюарта Милля в середине XIX в., она провозгласила принцип равных индивидуальных прав на саморазвитие и в значительной степени оправдала себя этим провозглашением. С тех пор эти две идеи либеральной демократии не просто сосуществовали вместе, каждая со своими подъемами и спадами.

Поныне рыночный взгляд доминирует: «либеральный» воспринимается, сознательно или бессознательно, как «капиталистический». Это так, несмотря на то что этические либералы, начиная с Милля, старались соединить рыночную свободу со свободой саморазвития и подчинить первую второй. Они потерпели неудачу, о причинах которой мы будем говорить в третьей главе.

Здесь я просто утверждаю, что либеральную позицию не обязательно ставить в непременную зависимость от принятия капиталистических посылок, хотя исторически было именно так. Тот факт, что либеральные ценности сложились в капиталистических рыночных обществах, сам по себе не является основанием для того, чтобы этический принцип либерализма — свобода индивида реализовывать его/ее человеческие способности — всегда связывать лишь с такими обществами. Напротив, вполне можно утверждать, что этический принцип или, если угодно, инстинкт индивидуальной свободы перерос свою капиталистическую рыночную оболочку и теперь может жить, так же или лучше, без нее; как и человеческие производительные силы, которые столь внушительно выросли в рамках соревновательного капитализма, не утрачиваются, когда капитализм отказывается от свободной конкуренции или замещается какой-либо формой социализма.

Я покажу, что продолжение жизни того, что можно действительно назвать либеральной демократией, зависит от снижения значимости рыночных представлений и повышения значимости идеи равных прав на саморазвитие. Я думаю, что есть некоторая надежда на то, что это произойдет. Хотя и нет никакой уверенности в том, что так и случится. Поэтому я считаю уместным сохранить этот несколько мрачноватый заголовок: «Жизнь и времена».

В этой небольшой работе моей главной целью является исследование пределов и возможностей либеральной демократии. Позвольте мне теперь объяснить, почему я делаю это посредством моделей и почему избрал определенные модели в качестве достаточных и уместных. Далее я перейду к рассмотрению некоторых более ранних моделей, которые считаю предшествующими либеральной демократии.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ

Почему модели?

Я употребляю термин «модель» в широком смысле — как теоретическую конструкцию, предназначенную для того, чтобы выявить и объяснить реальные отношения (которые не лежат на поверхности) между изучаемыми феноменами или в рамках этих феноменов. В естественных науках, которые в основном занимаются явлениями, не подверженными изменениям в силу воздействия человеческой воли или социальных трансформаций, следующие друг за другом модели (например, Птолемея, Коперника, Ньютона, Эйнштейна) суть последовательно более полные и достаточные объяснения реальных, неизменных отношений. В социальных науках, занимающихся явлениями, которые в исторически меняющихся границах подвержены изменениям по причине воздействия человеческой воли,

модели (или теории, как мы можем с тем же успехом их назвать) могут иметь два дополнительных измерения.

Во-первых, они могут предназначаться для объяснения не только глубинной реальности доминирующих или имевших место в прошлом отношений между обладающими волей и испытывающими исторические влияния человеческими существами, но также и возможности или вероятности будущих изменений в этих отношениях. Выявляя основные направления изменений и очевидно неизменяемые характеристики человека и общества, поддающиеся обнаружению к настоящему моменту, они могут пытаться различить силы перемен и пределы перемен, которые, как можно ожидать, будут характерны для будущего. Не все теоретики, формулировавшие законы изменений, считали, что они действуют прямолинейно: например, Макиавелли мыслил в терминах циклического движения как исторической формы социальных и политических изменений, которые будут бесконечно происходить в будущем. Но уже с Просвещения XVIII в. с его идеей прогресса вошло в обычай мыслить в линейных категориях. Не все теоретики, которые выделяли одну главную линию изменений в прошлом, прочерчивали ее в будущее: например, такие авторы XVIII в., как Монтескье, Тюрго, Миллар, Фергюсон и Адам Смит, которые усматривали и формулировали закон четырех стадий развития общества (охотничья, скотоводческая, земледельческая и коммерческая), склонялись к тому, что последняя стадия является окончательной. Но в XIX в. другие, и столь разные авторы, как Конт, Маркс и Милль, с большей или меньшей настойчивостью прочертили главную линию прошлого развития в будущее. И конечно, каждая из этих теорий эксплицитно или имплицитно опиралась на какую-то модель.

Другое дополнительное измерение моделей, используемых в политическом теоретизировании, — этиче-

ское, касающееся того, что желательно, или хорошо, или правильно. Выдающиеся модели политической науки, по крайней мере начиная с Гоббса, были одновременно объяснительными и обосновывающими, или оправдывающими. Они являются, в разных пропорциях, утверждениями о том, какова политическая система или политическое сообщество, как оно функционирует или может функционировать, и в то же время утверждениями о том, почему оно хорошо или почему хорошо именно такое положение дел. Некоторые демократические теоретики достаточно хорошо понимали, что их теории являются такого рода смесью. Другие — не понимали или даже отвергали подобный взгляд. Те, кто начинал с молчаливого допущения, что существующее правильно, склонны были отрицать, что они выносят ценностные суждения. Те, кто начинал с молчаливого допущения, что существующее неправильно, придавали особое значение этической аргументации (в то же время стараясь показать, что это имеет и реальное, практическое значение). И между этими двумя крайностями возможны позиции с разной расстановкой акцентов.

В любом случае чтобы показать, что какая-либо модель политической системы или общества, либо ныне существующего, либо пока не существующего, но желательного, реалистична, т.е. что можно предполагать, что она будет хорошо работать в течение достаточно долгого времени, следует ввести некие представления о человеческих существах, посредством которых и во взаимодействии с которыми она будет функционировать. Какого рода политическое поведение они способны осуществлять? Ясно, что это ключевой вопрос. Политическая система, которая, например, требует, чтобы граждане были более рациональными или политически более ангажированными по сравнению с тем, какими они ныне являются *и, как можно ожидать,*

будут в любых достижимых социальных условиях, вряд ли заслуживает особой защиты. Сделанная мною (и выделенная) оговорка важна. Мы не обязательно ограничены тем политическим поведением, которое люди демонстрируют сегодня. Мы им не ограничены, если можем обосновать наше ожидание того, что это поведение может перемениться, скажем, с изменением технологических возможностей и экономических отношений в обществе.

Большинство (хотя и не все) политических теоретиков самых разных убеждений — консервативных традиционалистов, либеральных индивидуалистов, радикальных реформистов и революционеров — очень хорошо понимали, что работоспособность любой политической системы очень сильно зависит от того, насколько все другие институты, социальные и экономические, оказывают или могут оказывать формирующее воздействие на людей, посредством которых и с участием которых должна функционировать политическая система. В этом сходились столь разные авторы, как Берк, Милль и Маркс, хотя большинство более ранних либеральных теоретиков, скажем, от Локка до Бентама, уделяли этому не слишком много внимания. И было принято считать, по крайней мере в XIX и XX вв., что самым важным в деле формирования людей как политических акторов со стороны всей совокупности социальных институтов и общественных отношений является формирование самосознания. Например, когда представление о человеке, практически в каждом порождаемое доминирующими социальными установлениями, связано с принятием на себя обязательств, характерных для определенного социального положения, или «места в жизни», тогда будет работать традиционная иерархическая политическая система. Когда же коммерческая и промышленная революция настолько изменила положение вещей, что это пред-

ставление стало неприемлемо, потребовался другой образ. Если сущностными чертами этого образа человека являются максимизация потребления и присвоения, мы имеем новое сознание, дающее место совсем другой политической системе и требующее ее. Если же позднее, испытывая отвращение к этому результату, люди станут думать о себе иначе, станет возможной и необходимой какая-то иная политическая система.

Итак, рассматривая модели демократии — прошлые, настоящие и могущие возникнуть в будущем, — нам следует держать в поле зрения две вещи: лежащие в основе этих моделей представления об обществе в целом, в котором должна функционировать демократическая политическая система, и представления о природе людей, которые должны сделать систему работающей (что, конечно, применительно к демократической системе означает всех людей, а не только правящий или доминирующий класс).

Из моих слов «об обществе, в котором должна функционировать демократическая политическая система», можно сделать вывод, будто демократической должна именоваться только политическая система, будто демократия есть просто механизм для избрания и легитимации правительств или, говоря иначе, принятия законов и политических решений. Однако мы должны иметь в виду, что демократия гораздо чаще мыслилась и мыслится как нечто большее. Начиная с Милля и далее у Л.Т. Хобхауса, А.Л. Линдсея, Вудро Вильсона и Джона Дьюи вплоть до современных сторонников демократии участия демократия рассматривается как некое качество, пронизывающее всю жизнь и функционирование национального или меньшего по масштабу сообщества, или, если угодно, как некий тип *общества*, т.е. всей совокупности взаимных отношений между людьми, составляющими нацию или иную общность. Некоторые теоретики, в основном XX в.,

считали необходимым разделять эти два значения демократии. Некоторые даже совсем исключали второе значение, определяя демократию как просто систему управления. Но в любом реалистическом анализе оба значения проникают друг в друга. Ибо разные модели демократии в узком смысле соответствуют разным типам общества.

Сказанного о моделях вообще достаточно, чтобы указать на то, что анализ либеральной демократии вполне можно проводить с точки зрения моделей. Изучать модели либеральной демократии значит изучать представления людей, которые желают ее, или ждут от нее большего, или предпочитают одну из ее ныне существующих версий, — представления о том, что она такое, а также о том, какой она могла бы быть и должна быть. Это больше, чем можно сделать, просто анализируя способы функционирования и институты какого-либо из существующих либерально-демократических государств. И это дополнительное знание очень важно. Ибо представления людей о политической системе — это не что-то внешнее по отношению к ней: они составляют ее неотъемлемую часть. Такие представления, как бы они ни складывались и чем бы они ни определялись, со своей стороны определяют пределы и возможное развитие этой системы: они определяют то, с чем люди будут мириться, и то, чего они будут требовать. Короче говоря, исследование с точки зрения моделей облегчает задачу удерживать в сознании тот факт, что либеральная демократия (как и любая другая политическая система) включает две необходимые составляющие, которые не всегда лежат на поверхности: а) чтобы быть работающей, она должна соответствовать желаниям и возможностям людей, которые приводят ее в действие; поэтому модель демократии должна предполагать (или принимать как само собой разумеющуюся) некую модель че-

ловека; б) поскольку, чтобы работать, она нуждается в общем одобрении и поддержке, эта модель должна содержать, эксплицитно или имплицитно, этически обосновывающую теорию.

Почему исторически сменяющие друг друга модели?

Если предмет нашего исследования — пределы и возможности современной либеральной демократии, то почему мы должны погружаться в «Жизнь и времена»? Почему не ограничиться анализом настоящего? Разве не было бы проще выявить единую модель ныне существующей либеральной демократии, перечислив наблюдаемые особенности практики и теории, общие для тех государств XX в., которые всеми единодушно рассматриваются как либеральные демократии, т.е. системы, функционирующие в большей части англоязычного мира и Западной Европы? Такую модель обозначить было бы несложно. Ее основные черты довольно очевидны. Правительства и законодатели прямым или непрямым способом избираются посредством периодических выборов на основе всеобщего и равного избирательного права, а голосующие, как правило, делают выбор между политическими партиями. Существует достаточный уровень гражданских свобод (свобода слова, печати и ассоциаций, а также свобода от произвольного ареста и заключения под стражу), обеспечивающий эффективность права выбора. Имеет место формальное равенство перед законом. Меньшинства находятся под определенной защитой. Всеми принимается принцип максимальной индивидуальной свободы, совместимый с равной свободой для других.

Многие современные политические авторы рисуют именно такую модель. Она может служить в качестве базы для исследования и изображения актуальных,

необходимых и возможных проявлений современной либеральной демократии. Ее можно также использовать для обоснования этического превосходства либеральной демократии над другими системами. Почему бы нам тогда не использовать такую единую модель, созданную на основе нынешней практики и нынешней теории? Зачем рассматривать последовательно сменявшие друг друга модели, которые доминировали на протяжении более чем столетия вплоть до нашего времени?

Самая простая причина состоит в том, что рассмотрение последовательно сменявших друг друга моделей снижает риск проявить близорукость по отношению к грядущему. Слишком легко, используя единую модель, перекрыть пути в будущее; слишком легко прийти к мысли, что либеральная демократия, коль скоро мы ее достигли, и неважно, какими стадиями, застыла в своем настоящем виде. Действительно, использование единой современной модели почти вынуждает сделать такой вывод. Ибо единая модель нынешней либеральной демократии, чтобы быть реалистичной, т.е. объясняющей, моделью, должна указывать как на необходимое условие на некоторые нынешние механизмы, такие как, например, соревновательная партийная система и не прямое (т.е. представительное) правление. Но это значит препятствовать тем опциям, которые могут стать возможными в силу изменившихся социальных и экономических отношений. Возможны серьезные расхождения во мнениях относительно того, можно ли некоторые вполне представимые будущие формы демократии назвать собственно *либеральной демократией*, но такой тезис следует доказывать, а не утверждать как нечто бесспорное. Следует рассмотреть, в частности, вопрос о том, способна ли либеральная демократия в больших национальных государствах двигаться в сторону сочетания не прямой и

прямой демократии: т.е. в сторону более полного участия, которое может потребовать иных механизмов по сравнению с существующей партийной системой.

Есть и другая причина предпочесть рассмотрение последовательно сменяющих друг друга моделей: это помогает более полно раскрыть содержание современной модели, собственную природу настоящей системы. Ибо ныне превалирующая модель сама по себе является амальгамой, возникшей в результате частичного отвержения и частичного усвоения предшествующих моделей. Каждая из первых трех моделей, которые я выбрал, в свое время была доминирующей моделью, т.е. в целом принимаемой теми, кто был вообще привержен демократии, как описание того, что такое демократия, зачем она нужна и каких институтов требует. И каждая из последовательно сменяющих друг друга моделей, после первой, создавалась в контексте критики одной или нескольких предыдущих. Каждая предлагалась как корректив предшествующей или как ее замещение: отправной точкой всегда была атака по крайней мере на какую-то часть предшествующей модели, даже тогда, когда, как это нередко бывало, новая модель включала существенные элементы более ранней, а ее создатели не отдавали в этом себе отчет. Таким образом, каждая модель была в определенной степени развитием предыдущей. Поэтому уместнее рассматривать природу современной либеральной демократии, а также ее возможное будущее развитие и его пределы, обращаясь к последовательно сменяющим друг друга моделям и к причинам, в силу которых они создавались, а затем терпели неудачу.

Почему именно эти модели?

Даже если мы убедились в преимуществах работы с моделями и в уместности анализа либеральной де-

мократии посредством изучения последовательно доминировавших моделей, возникает вопрос: почему не двигаться в прошлое дальше XIX столетия, как это делаю я? Почему не дойти, по крайней мере, до Руссо или Джефферсона или до демократических идей, связанных с пуританством XVII в., как это обычно делают те, кто стремится отыскать корни либеральной демократии?

На этот вопрос невозможно ответить без дальнейшего рассуждения. Нетрудно выдвинуть такое определение либеральной демократии, которому будут соответствовать некоторые теории и видения демократии периода до XIX в. Так, если свести сущностные черты либеральной демократии к трем или четырем пунктам (что вполне разумно), — скажем, к таким как идеал равных индивидуальных прав на саморазвитие, равенство перед законом, основные гражданские свободы и народный суверенитет с равным политическим голосом для всех граждан, — оставляя в стороне такие элементы, как представительство, партийная система и т.д., в этом случае некоторые более ранние идеи демократии могут рассматриваться как либерально-демократические. С тем же успехом, если включить в число этих пунктов представительство и проч., то различные более ранние концепции можно, наоборот, исключить. Определение рассматриваемой модели зависит от ценностного суждения относительно того, *каковы* ее сущностные черты, и отстоять такое суждение невозможно, просто давая ее определение.

Что же, у нас нет никакого основания для того, чтобы избрать отправную точку для либеральной демократии? Я так не думаю. Ибо если нас занимает возможное будущее либеральной демократии, мы должны обратить внимание на отношения между демократическими институтами и внутренней структурой общества. И существует один аспект таких отношений,

по большей части игнорируемый современными теоретиками либеральной демократии, который можно считать решающим. Это отношение между демократией и классом.

Я хотел бы теперь показать, что наиболее серьезная и наименее изученная проблема настоящего и будущего либеральной демократии связана с тем фактом, что либеральная демократия была предназначена для того, чтобы приспособить демократическое правление к *классово разделенному* обществу; что такая подгонка не предполагалась, ни в теории, ни на практике, вплоть до XIX в.; и что поэтому более ранние модели и видения демократии не следует рассматривать как модели либеральной демократии.

3. ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Демократия и класс

Как только внимание сосредоточивается на отношении между демократией и классом, мы сталкиваемся с новой формой исторического описания. Разумеется, нет ничего нового в указании на то, что основная западная традиция политической мысли, от Платона и Аристотеля до XVIII и XIX вв., определяла демократию, когда вообще думала о ней, как правление бедных, невежественных и некомпетентных классов за счет классов праздных, цивилизованных, имущих. Демократия, рассматриваемая с верхних уровней классово разделенного общества, означала классовое правление — т.е. правление, осуществляющееся неподходящим для этого классом. Это была классовая угроза, то, что несовместимо ни с либеральным, ни с иерархическим обществом. Основная западная традиция вплоть до XVIII и XIX вв. была, так сказать, недемократической и антидемократической.

Однако на протяжении более двух тысяч лет все же постоянно возникали демократические представления, были защитники демократии и даже имели место некоторые примеры демократической практики (хотя они никогда не охватывали всего политического сообщества). Если мы посмотрим на эти демократические представления и теории, то увидим, что у них есть один общий момент, который резко отличает их от либеральной демократии XIX и XX вв.: все они имеют дело с не классово разделенным обществом. Едва ли будет преувеличением сказать, что для большинства из них демократия *была* бесклассовым или одноклассовым обществом, а не просто политическим механизмом, соответствующим такому обществу. Эти ранние модели и видения демократии были реакцией на классово разделенное общество своего времени. Как таковые их можно с полным правом назвать утопиями — знаменитым именем, восходящим к заглавию удивительно-го сочинения Томаса Мора «Утопия» (XVI в.).

Это поразительным образом противопоставляет их либерально-демократической традиции XIX в. и далее, которая с самого начала — и в начале с большей ясностью, чем позднее, — принимала и признавала классово разделенное общество, в которое и должна была быть встроена демократическая структура.

Концепция либеральной демократии стала возможна только тогда, когда теоретики — сначала немногие, а затем большинство либеральных теоретиков — пришли к выводу, что принцип «один человек — один голос» не угрожает собственности или существованию классово разделенного общества. Первыми из мыслителей-систематиков, которые это осознали, были Бентам и Джеймс Милль в начале XIX в. Как мы увидим (во второй главе), они опирались при этом на две вещи: во-первых, на свою модель человека (которая уподобляла всех людей образу буржуазного мак-

симизирующего человека, из чего следовало, что все заинтересованы в поддержании неприкосновенности собственности); и во-вторых, на свое наблюдение, что низшие классы обычно относятся к высшим с почтением.

Таким образом, по моему мнению, граница между утопической демократией и либеральной демократией проходит в начале XIX столетия. По этой причине я и рассматриваю теоретиков периода до XIX в. в качестве предшественников либеральной демократии вместо того, чтобы считать их теории — скажем, Руссо, или Джефферсона, или любого из пуритан XVII в. — частью «классической» либерально-демократической традиции. Это не значит, что концепции, сложившиеся до XIX в., игнорировались или отвергались теоретиками XX столетия. Напротив, к этим более ранним концепциям нередко обращались, в особенности в XX в., экспоненты того, что я называю Моделью 2. Но это мало что давало этим экспонентам, поскольку они, как правило, не замечали, что их собственное восприятие класса несовместимо с тем, которое характерно для этих ранних теорий.

Я уже говорил, что сторонники демократии, предлагавшие свои модели и представления в период до XVII в., имели в виду или бесклассовое, или одноклассовое общество. Прежде чем обратиться к этому периоду, не мешает сказать больше о том, что понималось под классом в контексте того времени.

Класс понимался тогда в терминах собственности: его составляли те, кто состоял в одних и тех же отношениях к владению или не владению производящей продукты землей и (или) капиталом. Более широкое понятие класса, определяемое самым простым образом: богатые и бедные или богатые, средние и бедные, — было распространено в политической теории сколь угодно ранее, хотя в самых ранних теориях (на-

пример, у Аристотеля) владение *производительной* собственностью лишь имплицитно являлось критерием принадлежности к определенному классу. Однако представление о том, что класс, хотя бы имплицитно понимаемый в терминах производительной собственности, является важным критерием различных форм правления и даже важным фактором, определяющим, какие формы правления могут существовать и функционировать, разделяли Аристотель, Макиавелли, английские республиканцы XVII в. и американские федералисты — задолго до того, как Маркс разглядел в классовом конфликте двигатель истории.

Некоторые недемократические теоретики, отводившие классу центральное место в своем анализе (как, например, Гаррингтон), проводили различия между классами не по принципу владения или невладения собственностью, а опираясь на иные отношения собственности — феодальные или нефеодальные. Однако демократические теоретики обычно имели в виду более простое различие: между обществами с двумя классами, обществами только с одним классом и обществами без классов. Таким образом, некоторые из ранних утопистов (как и современные коммунисты) вполне представляли себе общество без индивидуального владения производительной землей или капиталом, а потому и без класса собственников: это можно назвать *бесклассовым* обществом. Другое представление об обществе предполагает, что индивидуальное владение производительной землей или капиталом существует и что каждый владеет или может владеть такой собственностью: это можно назвать *одноклассовым* обществом. Наконец, существует общество, где имеет место индивидуальное владение производительной землей или капиталом и где не каждый, но лишь одна группа людей владеет такой собственностью: это *классово разделенное* общество.

Разграничение между «бесклассовым» и «одноклассовым» обществами может показаться произвольным: каждое из таких обществ или представлений об обществе вполне может быть названо любым из этих терминов. Но поскольку эти два типа обществ существенным образом различаются, необходимо использовать и два разных термина. Современному словоупотреблению в большей степени соответствует использование термина «бесклассовое» для общества без частного владения производительной землей или капиталом, а термина «одноклассовое» — для общества, где каждый владеет или может владеть такими производительными ресурсами.

Теории периода до XIX в. как предтечи

Обратимся теперь к демократическим теориям периода до XIX в. В Древнем мире, конечно, были некоторые выдающиеся действующие демократии, и наиболее известная — афинская, прославленная Периклом. Однако от той эпохи до нас не дошло какой-либо серьезной теории, которая бы обосновывала или даже просто анализировала демократию¹. Мы можем предполагать, что любая такая теория рассматривала бы в качестве необходимой базы демократии ту часть граждан, которая в основном включает лиц, не зависящих от работодателей: это вполне соответствовало бы фактам, насколько мы их знаем, если говорить об афинском городе-государстве в его демократический период, который хорошо описан как демократия соб-

¹ Аристотель дает краткий анализ различных видов «демократии», под которой он понимает системы с умеренным имущественным цензом, позволяющим голосовать. Он выступает резко против полной демократии: он одобряет единственный вид демократии, когда высшая власть находится в руках «земледельцев и тех, кто имеет средний достаток» (*Аристотель*. Политика, IV. С. 6. 1292 b; ср. VI. С. 4. 1318 b).

ственников. Мы не знаем, было ли такое требование, соответствующее требованиям *одноклассового* гражданского сообщества, вписано в теоретическую модель, поскольку ни одной теоретической модели до нас не дошло: мы можем лишь высказывать разумные предположения.

В Средние века не приходится ожидать, а также обнаруживать какой-либо теории демократии или какого-либо требования демократических выборов: время от времени вспыхивавшие народные восстания не преследовали целью установление выборности, поскольку в то время власть, как правило, не принадлежала выборным органам. Там, где доминировал феодализм, власть была связана с социальным положением — унаследованным или же достигнутым силой оружия. Ни одно народное движение, сколь бы яростным оно ни было, не опиралось на представление, что может достичь своей цели, если оно получит право голоса. В государствах и независимых городах позднего Средневековья также не добивались власти подобным образом. Когда поднимались голоса и вспыхивали восстания против позднесредневекового социального порядка, как это было в случае Жакерии в Париже (1358), восстания чомпи во Флоренции (1378) и Крестьянского восстания в Англии (1381), выдвигались требования выравнивания социального положения и иногда — имущественного состояния, а совсем не требование установления демократического политического порядка. Стремилась или к бесклассовому коммунистическому обществу, как об этом свидетельствуют слова, приписываемые герою Крестьянского восстания в Англии Джону Боллу: «Дела в Англии не наладятся, пока все блага не станут достоянием всех, и не будет ни рабов, ни господ, и все мы будем равны»²,

² Цит. по: *Beer M. A History of British Socialism. L., 1929. Vol. I. P. 28.*

или же к одноуровневому обществу, где все могли бы владеть собственностью. Мы не знаем ни об одном таком движении, которое породило бы какую-либо систематическую теорию или описание демократической политической структуры.

Перемещаясь в XVI и XVII столетия, мы уже находим некоторые явно демократические теории. В Англии возникают два демократических течения. Одно ориентировано на бесклассовую структуру, другое — на одноклассовую. В демократических утопиях этого времени, наиболее известные из которых — «Утопия» Томаса Мора (1516) и «Закон свободы» Уинстенли (1652), речь идет о бесклассовом обществе. Такое общество должно было прийти на смену классово разделенному обществу: авторы стремились покончить со всеми классовыми системами власти. Усматривая основу классового угнетения и эксплуатации в институте частной собственности, они заменяли ее общественной собственностью и общим трудом. Эти представления о демократии, относящиеся к периоду раннего Нового времени, ориентировались на общество равных, лишенное всякого гнета, а также предполагали некую схему управления. Такое общество должно было быть бесклассовым, а чтобы быть бесклассовым, оно должно было исключать частную собственность.

Другое демократическое направление XVII в., поскольку оно проявилось в политическом, а не только в религиозном пространстве, не в меньшей степени связано с темой класса. Тогдашнее английское пуританство изобиловало демократическими идеями. Хотя они были порождены спорами о церковном управлении и оказали реальное воздействие лишь в этой сфере (и лишь отчасти в армии), они в то же время затронули и сферу гражданского правления, особенно в период гражданской войны и провозглашения республики (*Commonwealth*). Однако за исключением таких край-

не радикальных утопистов, как Уинстенли, группы и движения, политическая мысль которых восходит к демократическому пуританству, не были демократическими в политическом смысле. Они не заходили так далеко, чтобы требовать полного народного суверенитета или полностью демократических выборов.

Пресвитериане и индипенденты настаивали на имущественном цензе для участников выборов. Относительно позиции другого ведущего политического движения — левеллеров, которые в течение нескольких лет во время гражданской войны были очень сильны, идут споры. В другом месте я показал³, что левеллеры как организованное движение, выразившее свою позицию в единодушных заявлениях, намеревались не допускать к выборам наемных работников и просящих подавание (более половины взрослых мужчин). Но некоторые историки⁴, возражая на это, утверждают, что в своих отдельных писаниях и выступлениях левеллеры не были единодушны в этом вопросе и что некоторые из них были полными демократами. Если это и можно допустить как возможную интерпретацию заявлений некоторых левеллеров, мы все же должны задаться вопросом о том, какая классовая структура для левеллеров-демократов была бы совместима с демократией, к которой они стремились. Ответ ясен. Все левеллеры жестко противостояли классовым различиям, которые они видели вокруг и которые позволяли классу землевладельцев и богачей занимать господствующее положение и эксплуатировать людей

³ *Macpherson C.B. The Political Theory of Possessive Individualism. Oxford, 1961. Ch. 3; Macpherson C.B. Democratic Theory: Essays in Retrieval. Oxford, 1973. Essay 12.*

⁴ *Thomas K. The Levellers and the Franchise // The Interregnum: The Quest for Settlement, 1640–1660 / G.E. Aylmer (ed.) L., 1972; M.A. Barg — цит. в: Hill C. The World Turned Upside Down. L., 1972. P. 94, 97.*

малоимущих (и даже доводить их до состояния неимущих). В некоторых из наиболее страстных сочинений⁵ левеллеров говорится о тайном сговоре богатых и именитых и выражается желание положить этому конец. Идеалом всех левеллеров было общество, где все люди владеют достаточной собственностью, чтобы трудиться в качестве независимых производителей, и где никто не имеет собственности такого качества и такого количества, которая создавала бы возможность существования класса эксплуататоров.

Короче говоря, левеллеры, независимо от того, были ли среди них полные демократы, были привержены идеалу одноклассового общества. У них был такой же исторический взгляд на общество, как и у Руссо столетием позже. По их мнению, частная собственность, порождающая эксплуатацию, привела к упадку. Незначительная частная собственность независимых производителей является естественным правом. Значительная частная собственность, позволяющая ее владельцам эксплуатировать других, противоречит естественному праву.

Обращаясь к XVIII столетию, мы обнаруживаем некоторые значимые теории (их немного), которые обычно и вполне справедливо называют демократическими. В качестве ведущих сторонников демократии этого века можно привести Руссо и Джефферсона: их демократические идеи более влиятельны и в большей степени учитываются в наше собственное время, чем идеи кого-либо другого из их современников⁶. Как бы

⁵ Например, тех, что цитируются в: *Macpherson C.B. The Political Theory of Possessive Individualism*. P. 154–156.

⁶ Джеймс Мэдисон в американском контексте, без сомнения, был не менее, если не более, влиятелен, чем Джефферсон: Роберт Даль, например, строит в XX в. свою модель демократии, в основном опираясь на Мэдисона. И Мэдисон представляется исключением из моей схемы, так как он в

позиции Руссо и Джефферсона ни отличались в других отношениях, они оба представляли себе общество, где каждый владеет или может владеть достаточной собственностью, чтобы трудиться и сотрудничать, общество независимых производителей (крестьян, или фермеров, и ремесленников), а не общество, разделенное на, с одной стороны, зависимых наемных работников, а с другой — людей, владеющих землей или капиталом, от которых зависят первые.

Позиция Руссо ясна. Частная собственность есть священное индивидуальное право⁷. Однако священна только скромная собственность работающего собственника. Неограниченное право собственности, как резко заявляет Руссо в своем «Рассуждении о происхождении и основаниях неравенства между

1780-х годах признал классово разделенное общество и стремился к соответствующей ему системе управления. Однако на самом деле он не является исключением, так как система, которую он предлагает, едва ли может быть названа демократической: достаточно лишь обратить внимание на его озабоченность тем, чтобы защитить «богатое меньшинство от большинства» (The Records of Federal Convention 1787, revised ed. / M. Farrand (ed.). New Haven; L., 1931. P. 431); на его опасения относительно доминирования «фракции», которую он определял как «некое число граждан — независимо от того, составляет ли оно большую или меньшую часть целого, — которые объединены и охвачены общим увлечением или интересом» (Федералист. № 10); и на его утверждение естественного права владеть неравной собственностью, которое должно быть защищено от посягательств со стороны приверженцев демократического уравнивания (Там же). Поэтому его нельзя отнести к либеральным демократам периода до XIX в.

⁷ «...право собственности — это самое священное из прав граждан и даже более важное в некоторых отношениях, чем свобода... Собственность — это истинное основание гражданского общества». Руссо Ж.-Ж. О политической экономии. III. (Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969. С. 128).

людьми» (1755), является источником и продолжающим действовать средством эксплуатации и несвободы: морально оправдано только ограниченное право собственности. Эту свою позицию он подтвердил в «Общественном договоре» (1762). Первой собственностью, в изначальном смысле производства средств к существованию, было владение участком земли. Первоначальное право на землю, право первой заимки, было ограничено двумя условиями: «чтобы занято было лишь столько, сколько необходимо, чтобы прокормиться... чтобы вступали во владение землею не в силу какой-либо пустой формальности, но в результате расчистки и обработки ее»⁸. Итак, представление Руссо об ограниченной собственности опирается на идею естественного права.

Ему нужно было такое ограниченное право собственности и по другой причине, о чем он также ясно говорит: только такое ограниченное право совместимо с суверенностью общей воли. Истинно демократическое общество, которое будет управляться общей волей, требует такого равенства собственности, ибо «ни один гражданин не должен обладать столь значительным достатком, чтобы иметь возможность купить другого, и ни один — быть настолько бедным, чтобы быть вынужденным себя продавать»⁹. Ясно, что слова о покупке и продаже людей не имеют отношения к рабству, потому что этот принцип представлен как постоянное правило для *граждан*, т.е. свободных людей, а потому, по-видимому, речь здесь идет о запрете покупать и продавать свободный наемный труд. И опять, «законы всегда приносят пользу имущим и причиняют вред тем, у кого нет ничего: отсюда следует, что общественное состояние выгодно для людей, лишь по-

⁸ Руссо Ж.-Ж. Трактаты. С. 166.

⁹ Там же. С. 188.

сколько они все чем-либо обладают и поскольку ни у кого из них нет ничего излишнего»¹⁰.

Причина, по которой Руссо требует такого равенства, достаточно очевидна. Это прямо вытекает из его идеи о суверенности общей воли. Ибо там, где различия собственности разделяют людей на классы с противоположными интересами, люди будут руководствоваться классовыми интересами, которые по отношению ко всему обществу являются интересами частными; поэтому они не смогут выражать общую волю к общему благу. Возникновение и неуклонное действие общей воли требует одноклассового общества работающих собственников. Такого общества можно достичь действиями правительства: «Вот почему одно из самых важных дел правительства — предупреждать чрезмерное неравенство состояний, не отнимая при этом богатств у их владельцев, но лишая всех остальных возможности накапливать богатства, не воздвигая приютов для бедных, но ограждая граждан от возможности превращения в бедняков»¹¹.

Подобную, хотя и менее систематичную аргументацию мы встречаем и у теоретика, которого часто считают первым великим американским поборником демократии. Томас Джефферсон доверял простым людям в степени, необычной для большинства последующих президентов Соединенных Штатов. Было бы неоправданно циничным думать, что причина этого — отсутствие у него тех соблазнов, которые порождают новейшие технологии президентских кампаний. В любом случае он ясно дал понять, как в своих публичных заявлениях, так и в частной переписке, что его доверие к людям было доверием к независимым трудящимся собственникам, которых он считал хребтом — и на-

¹⁰ Там же. С. 125.

¹¹ Там же.

деялся, что они останутся хребтом — американского общества.

В своей наиболее существенной опубликованной работе «Заметки о штате Вирджиния» (1791) он с ясностью обнаруживает, что его благорасположение к человеческой природе ограничивается теми, кто обладает прочной экономической независимостью:

Зависимость порождает раболепство и продажность, душит зародыш добродетели и подготавливает удобные орудия для свершения злых умыслов... вообще в любом государстве соотношение между земледельцами и всеми другими слоями населения — соотношение между здоровой и гнилой частью государства — является достаточно хорошим барометром для измерения степени его разложения... Массы, населяющие большие города, так же способствуют поддержке чистоты государства, как язвы — организму человека¹².

О том же принципе он пишет в письме Джону Адамсу в 1813 г.:

Здесь каждый может иметь землю, на которой он будет трудиться, если захочет, или, если он предпочтет проявлять свою деятельность в другой области, он может требовать за свой труд такую компенсацию, которая не только обеспечит ему приличное существование, но и даст ему также возможность не работать в старости. Каждый благодаря собственности, которой он владеет, или в силу своего удовлетворительного положения заинтересован в поддержании законов и порядка. И такие люди могут надежно и с успехом сохранить за собой полный контроль над своими общественными делами и ту степень свободы, которая в руках городской черни Евро-

¹² Джефферсон Т. Заметки о штате Вирджиния // Американские просветители. Избранные произведения. В 2 т. / под общ. ред. Б.Э. Быховского. Т. 2. М.: Мысль, 1969. С. 74–75.

пы сразу же привела бы к разрушению и уничтожению всего народного и частного¹³.

Демократия, согласно Джефферсону, предполагает общество, в котором каждый экономически независим. Размышляя в американском контексте, Джефферсон не требовал, чтобы каждый был собственником-производителем, но лишь чтобы каждый мог стать им, если захочет. Он не возражал против наемного труда, но только потому, что при наличии свободной земли наемные работники были столь же независимы, что и земледельцы. Не порицал он и людей, владеющих значительным имуществом, к каковым и сам относился, поскольку любой другой владел или мог владеть небольшим имуществом, достаточным для того, чтобы быть независимым. Поэтому в тех обстоятельствах, которые, как видел Джефферсон, превалировали в Америке и которые он считал необходимым условием демократии вообще, не было существенного классового различия. Он допускал существование отношений найма только потому, что в этих обстоятельствах они не порождали классово разделенного общества. Условием демократии для Джефферсона, как и для Руссо, было одноклассовое общество.

Можно возразить, что то общество, которое до XIX в. авторы считали условием демократии, все же не было одноклассовым обществом, так как в нем подчиненным классом все еще оставались бы женщины, не имеющие сами по себе права владеть производительной собственностью. Более того, оппоненты демократов, как мы видели, подчеркивали тот факт, что любой класс не владеющих производительной собственностью зависим от класса обладающих такой собственностью и этим последним эксплуатируется.

¹³ Томас Джефферсон — Джону Адамсу. Монтичелло, 28 октября 1813 г. // Там же. С. 98–99.

Вполне можно показать, что женщины находились именно в таком положении, и несомненно, что ранние демократические авторы не выступали против этого: Руссо определенно считал, что женщины должны находиться в состоянии зависимости. Не значит ли это, что такие авторы имели в виду то, что следует назвать классово разделенным обществом?

Думаю, что нет. Потому что вплоть до XIX в. женщин обычно не считали полноценными членами общества. Они пребывали внутри гражданского общества, но к нему не принадлежали. Едва ли теоретик, описывая классовый характер общества или предписывая его, стал бы рассматривать их как некий класс. Демократ XVIII столетия вполне мог мыслить одноклассовое общество, исключая при этом женщин, и это было столь же естественно, как для древнего афинского демократа исключать из одноклассового общества рабов.

О женщинах нельзя сказать, что они составляли класс в полном смысле слова. Верно, что поскольку женщины не могли владеть собственностью, они соответствовали минимальному определению класса. И поскольку они находились в положении зависимых и эксплуатируемых, они соответствовали понятию класса, связанному с отношением эксплуататоры — эксплуатируемые. Однако существует очень большая разница между тем, как эксплуатировали женщин, и тем, как эксплуатировали неимущий рабочий класс (представителей которого в XVII и XVIII вв. также не рассматривали в качестве полноценных членов гражданского общества¹⁴). Я думаю, эта разница столь велика, что неуместно описывать женщин как класс.

Начиная с XVII в. и далее по мере того, как капиталистический рынок вытеснял феодальные и иные ста-

¹⁴ Ср.: Macpherson C.B. The Political Theory of Possessive Individualism. P. 221–229.

тусные отношения в качестве средств, позволяющих собственникам извлекать выгоду из труда неимущих, стало ясно, что единственный допустимый способ извлечения такой выгоды — это отношения между свободными наемными работниками и владельцами капитала, которые эксплуатируют первых. Отношения найма, т.е. строго рыночные отношения, стали критерием для определения класса. И в XVIII в., когда Руссо и Джефферсон выдвигали идею одноклассового общества, и в течение некоторого периода позднее в соответствии с этим критерием женщины не являлись классом. Их действительно эксплуатировало общество, в котором доминировали мужчины и которое принуждало большинство из них выполнять функцию воспроизводства рабочей силы, вознаграждая их не более чем возможностью существовать. Но это происходило в согласии с законными установлениями, подобными феодальным (или даже рабовладельческим), а вовсе не рыночным отношениям. Поскольку класс определялся капиталистическими рыночными отношениями, женщины как таковые не составляли класса и не рассматривались как класс. В этой ситуации авторы, которые резко выступали против классово разделенного общества и в то же время не рассматривали женщин как класс, являлись истинными приверженцами одноклассового общества. Поэтому, я думаю, нам все же следует относить демократических теоретиков периода до XIX в. к сторонникам одноклассового (или бесклассового) общества.

Надеюсь, что этого краткого обзора моделей демократии, относящихся к периоду до XIX в., достаточно, чтобы поддержать мое утверждение, что все они соответствуют представлению или о бесклассовом, или об одноклассовом обществе. И именно поэтому я думаю, что все эти ранние демократические теории лучше не относить к либерально-демократической традиции.

Чтобы принадлежать к этой традиции, теория должна быть одновременно и демократической, и либеральной. Но то, что обычно — и, по моему мнению, справедливо — считается либеральной традицией, начиная с Локка и энциклопедистов и до сего дня, с самого начала предполагало принятие рыночных свобод капиталистического общества.

Эта схема достаточно ясна. Либералы XVII и XVIII вв., которые вовсе не были демократами (скажем, от Локка до Берка), полностью принимали капиталистические рыночные отношения. То же самое относится и к либеральным демократам начала XIX в. (насколько сильна была такая приверженность у Бентама и Милля, мы увидим во второй главе). Затем (как мы увидим в третьей главе), с середины XIX по середину XX в., либерально-демократические мыслители старались соединить принятие капиталистического рыночного общества с гуманистической этической позицией. Это привело к появлению модели демократии, заметно отличающейся от модели Бентама, но все еще принимающей рыночное общество. Поскольку либеральный компонент либеральной демократии с завидным постоянством включал принятие капиталистических отношений и потому классово разделенного общества, представляется вполне обоснованным не относить к категории либерально-демократических демократические теории, возникшие в период до XIX в., так как все они отвергали классово разделенное общество. Это были, так сказать, ремесленные модели, и их лучше всего рассматривать как произведения предшественников либеральной демократии.

Если такое разделение кому-то представляется несколько произвольным, я не стану настаивать. В данном случае значение имеет не столько классификация, сколько понимание того, насколько глубоко рыночные

представления о природе человека и общества проникли в либерально-демократическую теорию.

Читатель может подумать, что обоснование предложенной классификации не может не привести автора к убеждению, что либеральная демократия всегда должна принимать капиталистическое рыночное общество с его классовыми разделениями. Если «либеральное» всегда означало именно это или, по крайней мере, всегда это включало, следует ли продолжать использовать этот термин только в таком значении? Не будет ли тогда противоречием говорить (как я это делаю в пятой главе) о перспективах демократической теории, которые предполагают упадок или отвержение рыночных представлений, и рассматривать это как исследование возможной будущей модели либеральной демократии?

С моей точки зрения, ни на один из этих вопросов не должно быть утвердительного ответа. Я считаю, что те причины, по которым в век формирования либеральной демократии «либеральное» означало принятие капиталистического рыночного общества, уже больше не действуют. Либерализм всегда означал освобождение индивида от устаревших ограничений, накладываемых институтами, учрежденными в прошлом. В эпоху, когда либерализм оформился в виде либеральной демократии, это было призывом освободить всех индивидов без исключения и освободить их ради того, чтобы они в полноте использовали и развивали свои человеческие способности. Но пока сохранялась экономика дефицита, либеральные демократы считали, что единственный путь для достижения этой цели пролегал через производительность свободного капиталистического предпринимательства. Можно ставить под сомнение, было ли это на самом деле единственным путем в начале XX в., но несомненно, что ведущие либеральные демократы думали, что это

именно так; и пока они так думали, они должны были настаивать на взаимосвязи между рыночным обществом и целями, преследуемыми либеральной демократией. Но эта взаимосвязь больше не является необходимой. Она не является необходимой в том случае, если мы считаем, что теперь уже достигли такого технологического уровня производительности, который делает возможной для каждого достойную жизнь, не зависящую от действия капиталистических стимулов. Конечно, это утверждение можно поставить под вопрос. Но если его отрицать, тогда, как представляется, невозможна никакая новая модель демократического общества и нет смысла обсуждать такую модель, будь она либеральной или какой-либо иной. Если же это утверждение принимается, тогда прежде необходимая взаимосвязь перестает быть таковой и в качестве «либерально-демократической» можно рассматривать некую новую модель, не опирающуюся на капиталистический рынок.

В следующих главах я рассмотрю три последовательно сменявшие друг друга модели либеральной демократии, о которых можно сказать, что они поочередно доминировали с начала XIX в. по настоящее время, и затем обращусь к рассмотрению перспектив четвертой модели. Первую модель я называю *протекционной демократией* (*protective democracy*): в данном случае обоснование демократической системы правления состоит в том, что ничто другое в принципе не может защитить тех, кем управляют, от притеснения. Вторая именуется *демократией развития* (*developmental democracy*): она принесла с собой новое моральное измерение, позволяющее рассматривать демократию главным образом как средство индивидуального саморазвития. Третья модель — *демократия равновесия* (*equilibrium democracy*) — отвергает моральное измерение на том основании, что опыт актуального

функционирования демократических систем демонстрирует нереалистичность модели развития: вместо этого теоретики равновесия предлагают описание (и обоснование) демократии как конкуренции элит, которое имеет результатом равновесие без особого участия народа. Эта модель в настоящее время доминирует. Ее неадекватность становится все более очевидной, и возможность ее замены чем-то, предполагающим большее участие, является насущной и острой проблемой. Поэтому в настоящем исследовании предпринимается попытка рассмотрения перспектив и проблем, связанных с четвертой моделью — *демократией участия* (participatory democracy).

II. Модель 1: протекционная демократия

1. РАЗРЫВ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Что бы ни говорить о строках Теннисона, что свобода медленно расширяется от прецедента к прецеденту, ясно, что к нашим нынешним либеральным демократиям мы пришли не таким путем. Верно, что в современных либеральных демократиях всеобщее избирательное право обычно устанавливалось постепенно, начиная от ограничительных имущественных цензов, двигаясь с разной скоростью в разных странах к праву голоса для мужчин и, наконец, к предоставлению этого права женщинам. Но прежде чем это расширение избирательных прав вообще началось, уже прочно установились институты и идеология либерального индивидуализма. Единичные явные исключения из этого правила исключениями не были. В некоторых европейских странах, прежде всего во Франции, избирательное право для мужчин действовало до того, как вполне сложилось либеральное рыночное общество. Но поскольку ассамблеи, избираемые в соответствии с этим правом, не имели власти назначать и отправлять в отставку правительства, такое установление нельзя считать демократическим: масштаб действия избирательного права является мериллом демократичности правительства только в том случае, если в результате выборов можно назначать и снимать правительства. Поэтому мы можем сказать, что в то время как движение за полные демократические выборы стало движущей силой где бы то ни было, концепция демократии, которую это выборное право воплощало,

сильно отличалась от любых более ранних представлений о демократии.

Таким образом, на пути от демократии долиберальной к либеральной имел место резкий разрыв. Движение с нуля началось в XIX в. и совсем на другом основании. Как мы видели, создатели более ранних концепций демократии отвергали классовое разделение, веруя и надеясь, что его можно преодолеть, или даже считая, что в некоторых местах — в Женеве Руссо или в Америке Джефферсона — оно уже преодолено. Либеральная демократия, напротив, принимала классовое разделение и из него исходила. Первые авторы, формулировавшие идеи либеральной демократии, отстаивали ее посредством цепочки рассуждений, начиная с представления о капиталистическом рыночном обществе и законах классической политической экономии. Это позволяло им предложить модель человека (как максимизатора полезности) и модель общества (как совокупности индивидов с конфликтующими интересами). Из этих моделей и одного этического принципа они выводили необходимость правительства, желательные функции правительства, а отсюда и желательную систему избрания и легитимации правительств. Чтобы увидеть, насколько глубокое воздействие эти модели человека и общества оказали на их общую теорию, и как следствие, на их модель либеральной демократии, мы должны внимательнее, чем это обычно делается, всмотреться в теории двух наиболее ранних систематических экспонентов либеральной демократии — Иеремии Бентама и Джеймса Милля¹.

¹ Модель Джеймса Милля может быть точно датирована 1820 г., когда вышла его знаменитая статья «Правление». Модель Бентама может быть датирована 1820 (см. сноску 8 к настоящей главе) или 1818 г., когда он предложил 26 «Резолюций по парламентской реформе» (*Resolutions on Parliamentary Reform*), в которых говорилось о допущении к

Мы можем начать с Бентама, первого систематизатора теории, известной как утилитаризм, и обращаться к Джеймсу Миллю, когда, как это иногда случается, он излагает позицию утилитаристов более ясно, чем Бентам, или когда его оговорки и двусмысленности отличаются от бентамовских. Милль был усердным учеником Бентама и гораздо более дисциплинированным автором, так что нередко он выражал тезисы Бентама более удачно, чем его учитель. А в то время когда Бентам углубился в вопрос о лучшей форме правительства, они размышляли параллельно и тесно общались. Поэтому будет справедливо по отношению к каждому из них, если мы будем рассматривать их почти как единое целое.

Следует отметить, что в лице Бентама и Джеймса Милля либеральная демократия положила не очень хорошее начало. Не то чтобы они были слабые теоретики. Напротив, Бентам заслуженно стал знаменитым мыслителем, и наиболее влиятельная английская доктрина XIX в. получила его имя. А Джеймс Милль, хотя и не от-

Окончание сн. 1

выборам: «все такие лица, мужского пола, зрелого возраста и здравого ума, должны... постоянно проживать в качестве домовладельцев или жильцов в том округе или в той местности, где им предстоит голосовать» (*Bentham J. Works. Bowring; Edinburgh; L., 1843. Vol. X. P. 497*).

Другие действительно и раньше выступали за равное избирательное право для мужчин, например, Джон Картрайт еще в 1776 г. в своей работе «Сделай свой выбор!» и Уильям Коббет в своем еженедельнике «Политический обозреватель». Однако никто из них не создал вполне продуманную модель, а те теоретические основания, на которые они опирались, были устаревшими: они апеллировали к естественному праву свободнорожденных англичан (до ограничений права голоса в соответствии с главой 7 выпущенного в 1429 г. 8-го статута Генриха VI), и они не сознавали ни изменений, произошедших в классовой структуре, ни значимости нового индустриального рабочего класса.

носился к мыслителям первого ряда, был ясным и влиятельным писателем. И общая теория утилитаризма, из которой они оба выводили необходимость демократических выборов, представлялась одновременно принципиально эгалитаристской и строго деловой. Именно одновременно, и в этом была проблема. Я полагаю, что именно соединение этического принципа равенства с соревновательной моделью человека и общества логически привело обоих мыслителей к выводу о необходимости демократических выборов, но заставило это сделать не без двусмысленностей или оговорок.

2. УТИЛИТАРИСТСКАЯ ОСНОВА

Общая теория была достаточно ясной. Единственным поддающимся рациональному обоснованию критерием общественного блага является наибольшее счастье наибольшего числа людей, при том что счастье определяется как определенное количество индивидуального удовольствия за вычетом боли. При вычислении совокупного чистого счастья всего общества каждый индивид считается за единицу. Что может быть более эгалитаристского, чем такой фундаментальный этический принцип?

Но к этому добавлялись определенные фактуальные постулаты. Каждый индивид по самой своей природе стремится максимизировать свое удовольствие, и этому нет предела. И хотя Бентам составил длинный список различных удовольствий, включая многие нематериальные удовольствия, ему было ясно, что обладание материальными благами столь фундаментально для достижения всех других форм удовлетворения, что только его можно считать мерилем всех удовольствий. «Каждой доле богатства соответствует доля счастья»².

² *Bentham J. The Theory of Legislation / C.K. Ogden (ed.). L., 1931. P. 103.* Об абстрагировании от реальности, которое

И опять: «Деньги есть инструмент измерения количества боли и удовольствия. Те, кто не удовлетворены точностью этого инструмента, должны найти другой, который будет более точным, или распрощаться с политикой и моралью»³.

Итак, каждый человек стремится без всякого ограничения увеличивать свое богатство. Один из способов этого — обретение власти над другими. «Между богатством и властью связь наиболее тесная и глубокая; столь глубокая, что отделение одного от другого, даже в воображении, весьма трудное дело. Они оба являются друг по отношению другу инструментом производства»⁴. И снова, «человеческие существа являются наиболее мощными инструментами производства, и потому каждый озабочен тем, чтобы использовать служение своих собратьев ради увеличения своего собственного удобства. Отсюда жгучая и всеобщая жажда власти и равно распространенная ненависть к подчинению»⁵.

Джеймс Милль еще более откровенен. В своей статье «Правление» 1820 г. он писал:

То, что один человек будет желать, чтобы личность и собственность другого служили его удовольствиям, несмотря на то что в результате этот другой индивид может испытывать боль или утрату удовольствия, есть основание правления. Желание какого-либо предмета предполагает желание обрести власть, необходимую для обретения этого предмета. Поэтому желания такой власти, которая необходима, чтобы личности и собствен-

Окончание см. 2

требуется, чтобы выдвинуть это утверждение, см. сноску. 12 к настоящей главе.

³ Jeremy Bentham's Economic Writings / W. Stark (ed.). Vol. I. P. 117.

⁴ Bentham J. Constitutional Code. Bk. I. Ch. 9 // Bentham J. Works. Vol. IX. P. 48.

⁵ Jeremy Bentham's Economic Writings. Vol. III. P. 430.

ность людей служили нашим удовольствиям, есть великий правящий закон человеческой природы... Великим инструментом для достижения того, что любит человек, являются действия других людей. Поэтому власть... означает обеспечение согласованности между волей одного человека и действиями других людей. Это, как мы полагаем, утверждение, которое не подлежит обсуждению⁶.

В свете этого великого правящего закона человеческой природы общество есть совокупность индивидов, непрерывно стремящихся к власти друг над другом и за счет друг друга. Чтобы сохранить такое общество от распада, необходимо структурированное законодательство, как гражданское, так и уголовное. Разные законодательные системы могут обеспечить необходимый порядок, но, конечно, в соответствии с утилитаристским этическим принципом, лучшим сводом законов, лучшей системой распределения прав и обязанностей будет то, что приведет к наибольшему счастью наибольшего числа людей. Эта наиболее общая цель законодательства может быть, согласно Бентаму, разложена на четыре подчиненные цели: «обеспечивать существование»; обеспечивать изобилие; поддерживать равенство; сохранять безопасность⁷.

3. ЦЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА У БЕНТАМА

Соображения Бентама относительно того, как можно достичь этих целей (и как нельзя), весьма показательны. В совокупности они представляют собой обоснование системы неограниченной частной собственности и капиталистического предпринимательства, и это с очевидностью вытекает из фактуальных

⁶ *Mill J. Essay on Government. Cambridge, 1937. P. 17.*

⁷ *Bentham J. Principles of the Civil Code. Part I. Ch. 2 // Bentham J. The Theory of Legislation. P. 96.*

постулатов относительно человеческой природы и некоторых других. Рассмотрим последовательно его аргументы, касающиеся каждой из обозначенных целей.

Первая — существование как таковое. Закон не нужен для того, чтобы достаточно производилось ради обеспечения существования каждого.

Что может сделать закон для существования? Напрямую — ничего. Все, что он может сделать, — это создать *мотивы*, т.е. наказания и награды, в силу которых люди будут обеспечивать свое существование. Но природа сама создала такие мотивы и наделила их достаточной энергией. Прежде чем появилась идея закона, *нужда и удовольствия* уже сделали в этом отношении все, что только могут сделать лучшие своды законов. Нужда, вооруженная болью всех видов, даже самой смертью, руководит трудом, пробуждает отвагу, воспитывает предусмотрительность, развивает все способности человека. Удовольствие, неразлучный спутник любой удовлетворенной нужды, создает неисчерпаемый источник наград для тех, кто преодолевает препятствия и достигает целей природы. Поскольку сила физических мотивов достаточна, использование политических мотивов является излишним⁸.

Что могут делать законы, так это «обеспечивать существование косвенно, защищая людей, когда они трудятся, и давая им уверенность в том, что они получают плоды своего труда. Безопасность трудящегося, защита плодов его труда — такова польза закона; и это неоценимая польза»⁹.

Любопытно, что в данном случае Бентам, упоминаемая страх голодной смерти в качестве естественного побуждения к производительному труду, который

⁸ *Bentham J. Principles of the Civil Code. Part I. Ch. 4 // Bentham J. The Theory of Legislation. P. 100.*

⁹ *Ibid.*

обеспечит существование каждому, перескочил от представления о первобытном обществе («прежде чем появилась идея закона»), где страх перед голодом мог производить такое воздействие на каждого, к передовому промышленному обществу XIX в., где такого рода логика не действует без определенных оговорок. В первобытном обществе со столь низким уровнем производительности, что требовался постоянный труд всех (и все понимали, что это необходимо), чтобы избежать всеобщего голода, страх голодной смерти мог быть достаточным стимулом к производительному труду, обеспечивающему существование для всех. Но в обществе, где технологии производства являются достаточными для того, чтобы обеспечить существование всех без необходимости каждого непрерывно трудиться — как Англия времен Бентама, — страх умереть от голода сам по себе не является достаточным стимулом. В таком обществе страх голода будет побудительным мотивом к непрекращающемуся труду только в том случае, если существующие институты собственности создали класс, который не владеет землей или работающим капиталом и не взывает к обществу, прося поддержки, а потому должен либо продавать свой труд, либо умирать от голода.

Столь проницательный мыслитель, как Бентам, вряд ли мог не понимать этого и не признавать неизбежным существование такого класса в любом экономически передовом обществе. И мы знаем, что он действительно это признавал: «На высшем уровне общественного процветания великое множество граждан не будет иметь иных ресурсов, кроме своих ежедневных усилий; и, следовательно, всегда будет находиться на грани бедности»¹⁰. Здесь мы уже можем видеть, как учение классической политической экономии ниспровергает эгалитарный принцип.

¹⁰ Ibid. Part I. Ch. 14 // Ibid. P. 127.

Такое же смещение имеет место, когда он говорит об «изобилии». Здесь он перескакивает от общества независимых производителей к своему собственному передовому обществу, применяя к последнему общее правило, касающееся стимулов, выведенное из анализа первого. Не нужно никакого законодательства, говорит он, чтобы побуждать индивидов к производству изобилия материальных благ. Достаточно естественных стимулов, потому что желание каждого — бесконечно. Каждое удовлетворенное желание порождает новое желание. Поэтому существуют сильные и постоянные стимулы производить больше. Бентам не замечает, что эти стимулы, которые с достаточной убедительностью можно мыслить относительно капиталистического предпринимателя и, возможно, распоряжающегося самим собой независимого производителя, с трудом можно отнести к наемным работникам, которые «всегда на грани бедности». Он не видит этого, потому что создал свою модель по образу предпринимателя или независимого производителя. Он смог это сделать, потому что не обладал чувством истории.

И только когда он переходит к рассуждениям о равенстве и безопасности, в полной мере обнаруживается, насколько принятие капитализма подрывает эгалитаристский этический принцип. Аргументы в пользу «равенства», т.е. того, что каждый обладает одним и тем же количеством богатства или дохода, изложены ясно. Они опираются на то, что известно под именем закона убывающей полезности, который гласит, что последовательное увеличение богатства (или любых материальных благ) приводит к последовательному снижению удовлетворения, испытываемого его обладателем, или что человек, обладающий богатством в десять или тысячу раз большим, чем другой человек, испытывает удовольствие гораздо меньше, чем в десять или тысячу раз большее. Из того факта, что все

индивиды обладают одной и той же способностью испытывать удовольствие и что «любой доле богатства соответствует определенная доля удовольствия», следует, что «тот, кто обладает большим богатством, обладает и большим счастьем», но в то же время «превышение счастья более богатого будет не столь же большим, как превышение его богатства»¹¹. Из этого следует, что совокупное счастье будет тем больше, чем ближе будет распределение богатства к равенству: максимальное совокупное счастье требует, чтобы все индивиды обладали равным богатством.

Эта аргументация в пользу равенства требует, как мы отмечали, представления о равной способности испытывать удовольствие. Ибо если считать, что некоторые обладают большей способностью к переживанию удовольствий, т.е. большей восприимчивостью и чувствительностью, тогда можно утверждать, что совокупное счастье будет возрастать с увеличением у этих людей богатства. Бентам здесь не очень последователен. Рассуждая о равенстве, он предварил свой аргумент «уменьшающейся отдачи» тем, что отставил в сторону «конкретную чувствительность индивидов и... внешние обстоятельства, в которых они могут оказаться». Эти аспекты нужно игнорировать, говорит он, потому что «они никогда не бывают одинаковыми для двух индивидов», так что если их не исключить из рассмотрения, «будет невозможно вынести какое-либо общее суждение»¹². В то же время в другом месте он отмечает, что помимо различий индивидуальной чувствительности существуют и различия между целыми категориями индивидов. Существует различие в чувствительности между полами: «Относительно

¹¹ *Bentham J. Principles of the Civil Code. Part I. Ch. 6 // Bentham J. The Theory of Legislation. P. 103.*

¹² *Ibid.*

количества чувствительность женского пола вообще больше, чем мужского»¹³. И что более важно, в аргументации, зависящей от соотношения удовольствия и богатства, Бентам видит различия чувствительности в людях, принадлежащих к различным «состояниям, или положениям в жизни»: «*Caeteris paribus*, количество чувствительности бывает, по-видимому, больше в высших классах людей, чем в низших»¹⁴. Если бы Бентам признал такую разницу между представителями различных имущественных классов, когда доказывал равенство богатства, его доказательство провалилось бы: он бы тогда солидаризовался с позицией Эдмунда Берка. Может быть, так и было. А может быть, он не видел никакой необходимости указывать на эту разницу в ходе аргументации в пользу равенства, потому что он уже решил, что утверждение равенства занимает вполне подчиненное положение по отношению к утверждению безопасности.

В любом случае, сказав все это по поводу «равенства», Бентам обратился к «безопасности» (*security*), т.е. защите собственности и ожиданий дохода от использования труда или собственности. Без защиты собственности как плода человеческих трудов, говорит Бентам, цивилизация невозможна. Никто не будет строить планы жизни или прилагать труд, результат которого он не сможет сразу получить и использовать. Даже простого возделывания земли не будет, если человек не сможет быть уверен в том, что урожай принадлежит ему. Поэтому законы должны защищать индивидуальную собственность. А поскольку люди различаются способностями и энергией, одни получают больше собственности, чем другие. Любая попытка с помощью закона их уравнивать уничтожит стимул к

¹³ Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М.: РОССПЭН, 1998. С. 75.

¹⁴ Там же. С. 77.

производству. Отсюда, как и между равенством и безопасностью, закон не должен колебаться: «Равенство должно уступить!»¹⁵

Аргументация убедительна, хотя и непоследовательна. Верно, что если принять посылки Бентама, что каждый индивид по самой своей природе стремится к максимизации своего удовольствия, а потому и своих материальных благ, без всякого предела и за счет других, то из этого действительно следует, что защита плодов человеческого труда необходима для того, чтобы превратить стремление к прибыли в стимул для производства. Но из этого вовсе не следует, как считает Бентам, что без такой защиты невозможно общество, преодолевшее дикость, — если вспомнить о защите плодов труда, распространенной на существование рабов в высоких древних цивилизациях. Принудительный труд, в форме рабства или в какой-либо иной форме, вполне способен поддерживать высокий уровень цивилизации; и если иметь в виду посылку самого Бентама, что каждый ищет власти над другими, потому что «человеческие существа — наиболее мощные орудия производства», он вряд ли смог бы это отрицать как нечто неестественное. На самом деле, как мы сейчас увидим, он это не отрицает, а подтверждает.

Если бы он ограничил свою защиту собственности защитой плодов человеческого труда, мы имели бы весьма хороший результат. Но он этим не удовольствовался. Он делает следующий бессознательный прыжок — переходит к совсем иной пропозиции: что безопасность признанной собственности любого рода, включая такую, которая, возможно, и не является плодом собственного труда, должна быть гарантирована.

¹⁵ *Bentham J. Principles of the Civil Code. Part I. Ch. 11 // Bentham J. The Theory of Legislation. P. 120.*

Принимая во внимание великий принцип безопасности, что следует сделать законодателю относительно всего массива уже существующей собственности?

Ему следует сохранить ее распределение таким, каким оно уже в действительности сложилось. ...Нет ничего более разнящегося, как положение с собственностью в Америке, в Англии, в Венгрии и в России. Как правило, в первой из этих стран тот, кто возделывает землю, является собственником; во второй — арендатором; в третьей он принадлежит к приходу; в четвертой он — раб. Однако высший принцип безопасности (*security*) требует сохранить все эти виды распределения, хотя их природа столь различна и они не производят одинаковой суммы счастья¹⁶.

Аргументы, которые приводит Бентам, снова демонстрируют его нечувствительность к истории. С его точки зрения, ниспровергнуть *любую* существующую систему собственности — значит сделать невозможной никакую иную систему. Но не нужно глубоко знать историю, чтобы понять, что это не так. Например, разрушение феодальной системы собственности привело к установлению столь же устойчивой капиталистической системы; и то же самое можно сказать о многих предыдущих ниспровержениях существовавших систем.

Если бы аисторичный постулат Бентама был верен, он должен был бы логически заключить, что следует поддерживать каждую устоявшуюся систему, даже если она не «производит той же суммы счастья»; ибо ниспровержение любой системы было бы хуже, согласно критерию наибольшего счастья, чем любая возможная выгода от иной системы. Но это необоснованный постулат. А поэтому и его «доказательство» того, что безопасность имеет абсолютный приоритет перед равенством, тоже неубедительно.

¹⁶ *Bentham J. Principles of the Civil Code. Part I. Ch. 11 // Bentham J. The Theory of Legislation. P. 119.*

Можно предположить, что Бентам приводил свои аргументы в пользу защиты любой сложившейся системы собственности, включая такие, которые сохраняют крайне неравное распределение богатства, опираясь не на свой аисторичный постулат, а просто на иной принцип, который он провозгласил в главе, посвященной равенству. Это принцип заключается в том, что

люди вообще обнаруживают большую чувствительность к боли, чем к удовольствию, даже когда причина одна и та же. И настолько, что потеря утрата четверти его состояния лишает его большего счастья, чем он мог бы обрести, удвоив свое состояние¹⁷.

Но Бентам понимал, что одно это обстоятельство не оправдывает сохранения значительного неравенства. Единственный вывод, который он мог из этого сделать, — сказать, что перераспределение собственности между двумя людьми с *равным* богатством означало бы чистую утрату счастья. И мог бы далее показать, что в случае двух лиц, одно из которых в 4 раза богаче другого, перераспределение одной четвертой богатства А в пользу В, которое удвоит состояние В, также приведет к некоторой утрате счастья. Но если А богаче В, скажем, в 12 раз, перераспределение четверти богатства А в пользу В увеличит состояние последнего в 4 раза, и это, по-видимому, будет иметь следствием чистый прирост счастья. Бентам это признавал. И он выражал это, говоря, что в таком случае «зло, произведенное в результате нападения на безопасность, будет отчасти компенсировано добром, величина которого будет пропорциональна прогрессивному движению в направлении равенства»¹⁸. Поэтому ему был нужен

¹⁷ Ibid. Part I. Ch. 11 // Ibid. P. 108.

¹⁸ Ibid.

независимый аргумент для доказательства абсолютно-го приоритета безопасности перед равенством. А этот аргумент, как мы видели, опирался на неверный исторический постулат.

Из рассмотрения Бентамом четырех подчиненных целей законодательства и предшествующего этому постулата ясно, насколько глубоко его общая теория проникнута буржуазными представлениями. Сначала мы имеем общие тезисы: что каждый человек всегда действует, чтобы защитить свой собственный интерес, максимизировать свое удовольствие или пользу, причем без всякого предела; и что это вступает в конфликт с интересом любого другого человека. Затем поиск максимального удовольствия сводится к поиску максимума материальных благ и (или) власти над другими. Далее, эти постулаты, почерпнутые из современного ему капиталистического общества, представляются как общезначимые: что великое множество людей никогда не поднимется выше уровня едва достаточного существования; что для них именно страх голода, а не надежда на извлечение выгоды является действующим стимулом к труду; что для более удачливых надежда получить выгоду является достаточным стимулом максимальной производительности; что для того чтобы эта надежда действовала как стимул, необходима абсолютная безопасность собственности. И в конечном счете защита собственности возводится в ранг «высшего принципа», абсолютно перевешивающего принцип равенства.

Подлинной причиной того, почему Бентам не видел здесь никакого противоречия, причиной, усиливающей его аисторичный постулат, было, я думаю, то, что он в действительности был озабочен только обоснованием капиталистического рыночного общества. В этом обществе, по крайней мере согласно его версии классической политической экономии, действительно

не было таких противоречий: безопасность неограниченного индивидуального владения была именно тем, что, наряду с неограниченным желанием, порождало максимальную производительность всей системы. Но сказать, что защищенность собственности хотя и увековечивает неравенство, но максимизирует производительность, это совсем не то, что сказать, что все это максимизирует совокупное удовольствие или пользу. Бентам снова совершил скачок — теперь от совокупной пользы к совокупному богатству. Но это разные вещи. Этот скачок необоснован, потому что в соответствии с его собственным принципом убывания полезности меньшее национальное богатство, равномерно распределенное, может привести к большей совокупной пользе, чем большее национальное богатство, распределенное неравно. Но Бентам настолько проникся этосом капитализма, побуждающим к максимизации богатства и видящим в нем эквивалент максимизации полезности, что не увидел разницы между одним и другим.

4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Какое государство необходимо этому типу общества? Политическая проблема состоит в том, чтобы найти систему избрания и легитимации правительств, т.е. иметь группы законодателей и правоприменителей, которые будут создавать и применять на практике законы, необходимые такому обществу. Это двойная проблема: политическая система призвана одновременно формировать правительства, которые будут утверждать и стимулировать свободное рыночное общество, и защищать граждан от алчности этих правительств (ибо, согласно великому принципу, управляющему человеческой природой, каждое правительство будет алчным, если не быть таковым не будет в его же

собственных интересах или же у него не будет возможности таковым быть).

Основным в решении этой двойной проблемы оказывается масштаб выборов вместе с такими сопутствующими им механизмами, как тайное голосование, частота выборов и свобода прессы, которые делают сами выборы свободным и действенным выражением пожеланий избирателей. Масштаб и честность выборов стали главным вопросом, потому что в начале XIX в. в Англии теоретики воспринимали как само собой разумеющиеся другие отличительные черты представительного правления: конституционные нормы, в соответствии с которыми законодательная и исполнительная власть периодически избиралась и замещалась посредством общих выборов, а гражданская (и военная) служба находилась в подчинении у правительства, ответственного перед избирателями. Таким образом, модель, из которой исходили мыслители XIX в., представляла собой систему такого представительного и ответственного правительства. Вопрос, который стоял перед ними, касался масштаба и честности выборов, которые одновременно позволяли бы формировать правительство, способное поддерживать свободное рыночное общество, и защищать граждан от этого правительства.

Если только первое из этих требований воспринималось как проблема, тогда нужно было очень немногое, чтобы выборы были демократическими. И действительно, очень немногим удовлетворялся Бентам в течение двух десятилетий после того, как он начал думать о политической системе. В работе, написанной между 1791 и 1802 гг., он выступал за ограниченное избирательное право, которого были лишены бедные, необразованные, зависимые и женщины¹⁹. В 1809 г.

¹⁹ *Bentham J. Principles of Legislations. Ch. 13. Sect. 9 // Bentham J. The Theory of Legislation. 1931. P. 81.*

он считал, что голосовать должны главы семейств, причем только те, кто платит прямые налоги на собственность²⁰. А в 1817 г. он говорил о «практически всеобщих» выборах, исключаяющих только несовершеннолетних, неграмотных и, возможно, женщин (высказаться по этому вопросу определенно «было бы здесь преждевременно»); но в той же самой работе он говорил, что хотя он и уверен в том, что всеобщие выборы не представляют опасности, он также убежден, что «ради единства и согласия вполне возможно, сохраняя последовательность, допустить некоторые исключения, по крайней мере на время и имея в виду спокойствие и постепенность»²¹. В 1820 г. он высказывался в пользу избирательного права для мужчин; но даже тогда он говорил, что приветствовал бы более ограниченное право голоса для глав семейств, если бы не видел, что это не удовлетворило бы лишенных такого права, «которые, возможно, составляют большинство взрослого мужского населения»²². Таким образом, Бентам не испытывал особого энтузиазма относительно демократических выборов. Его подталкивали к этому разные факторы: отчасти собственная оценка того, чего требуют сами люди, отчасти жесткие требования логики при рассмотрении конституционного вопроса, к которому он обратился.

«Любая группа людей [включая тех, кто обладает властью законодательствовать и управлять] всецело руководствуется своими представлениями о том, что составляет их интерес, в самом узком и наиболее эгоистическом смысле этого слова: никогда чувством ува-

²⁰ *Bentham J. Plan of Parliamentary Reform. 1818 edn. P. 40, 127.*

²¹ *Ibid. P. 35–37, 41n.*

²² *Bentham J. Radicalism Not Dangerous // Bentham J. Works. Vol. III. P. 599.*

жения к интересам других»²³. Единственный способ предотвратить ограбление правительством остальных людей — обеспечить частую сменяемость правителей большинством народа. Власть управления в руках любой группы людей, которая не избрана и не подлежит смене посредством подачи голосов наибольшего числа людей, «обязательно будет стараться по возможности увеличить их собственное счастье, что бы ни стало со счастьем других. И в той степени, в какой их счастье будет увеличиваться, совокупное счастье всех управляемых будет уменьшаться»²⁴. Счастье — это игра с нулевой суммой: чем его больше у правителей, тем меньше у тех, кем они управляют.

Аргументы в пользу демократической системы — это аргументы чистой защиты: «за единственным исключением — надлежащим образом организованной демократии — управляющие и влиятельные немногие являются врагами подвластного множества: ...и в соответствии с самой природой человека... вечными и неизменными врагами»²⁵.

Демократия, таким образом, имеет своей характерной целью и результатом защиту своих членов от притеснения и поборов со стороны тех чиновников, которых она нанимает для своей защиты...

Все другие виды управления необходимо имеют своей характеристикой, главной целью и результатом поддержание народа, т.е. не чиновников, в совершенно беззащитном состоянии перед лицом чиновников, которые ими управляют; будучи в том, что касается их власти и способа, каким они склонны распоряжаться ею, естественными врагами народа, они имеют своей целью обес-

²³ *Bentham J. Constitutional Code // Bentham J. Works. Vol. IX. P. 102.*

²⁴ *Ibid. P. 95.*

²⁵ *Ibid. P. 143.*

II. Модель 1: протекционная демократия

печивать средствами и уверенностью поборы и притеснения управляемых со стороны управляющих, придавая этим поборам ничем не ограниченный размах и безнаказанность²⁶.

Но хотя диктуемые логикой выводы из человеческой природы и давали неопровержимые доказательства в пользу демократического устройства, Бентам, исходя из соображений целесообразности, был готов к компромиссу. Хорошим примером является его окончательная позиция относительно избирательных прав женщин. Отстаивая принцип всеобщих выборов, следовало заключить, что женщины должны иметь право голоса наравне с мужчинами. Более того, Бентам считал, что ради компенсации естественных недостатков женщины, возможно, должны были бы получить даже больше голосов, чем мужчины. Тем не менее он придерживался мнения, что в настоящее время общее отношение к женскому участию в голосовании таково, что он не может его рекомендовать: «споры и смущение, которые возникнут в результате предложения этого усовершенствования, полностью захватят общественное сознание и отдалят развитие в других областях»²⁷.

Итак, мы познакомились с позицией Бентама относительно демократических выборов. Он бы вполне удовлетворился ограниченным избирательным правом, но был готов признать право голоса за всеми мужчинами. В принципе он даже выступал за всеобщее избирательное право, но считал, что время для него еще не пришло: отстаивать право голоса для женщин пока опасно, потому что это снизит шансы на успех любых парламентских реформ. И нужно заметить, что он согласился с принципом демократических

²⁶ Ibid. P. 47.

²⁷ Ibid. P. 109.

выборов только тогда, когда убедился, что бедные не будут использовать свои голоса с целью уравнивания или уничтожения собственности. Бедные больше приобретут, если будут поддерживать институт собственности, а не разрушать его, говорил он и указывал в качестве доказательства на тот факт, что в Соединенных Штатах те, кто «не имел собственности, достаточной для обеспечения себе средств к существованию», по прошествии пятидесяти лет «приобрели приличные состояния в соответствии с законом» и никогда не посягали на чужую собственность²⁸.

5. МЕТАНИЯ ДЖЕЙМСА МИЛЛЯ

Именно Джеймс Милль в 1820 г. наиболее последовательно выступил за всеобщее избирательное право, хотя сделал он это столь осторожно и говорил об этом столь гипотетически, что его позиция может показаться, и нередко действительно казалась, выступлением за нечто гораздо меньшее, нежели всеобщие выборы²⁹. Но хотя он и уклонялся от ясных заключений, его аргументация приводит к неопровержимым выводам о необходимости всеобщих выборов. Основной аргумент — более смелый, чем у Бентама, но, по существу, аналогичный. Он начинается с утверждения постулата относительно эгоистического интереса — безусловно, нашедшего здесь наиболее резкое выражение, чем когда-либо до или после, т.е. великого управляющего закона человеческой природы, о котором уже говорилось выше. Из него следует, что те, кто не обладает

²⁸ *Bentham J. Constitutional Code // Bentham J. Works. P. 143.*

²⁹ Различные понимания обсуждаются Джозефом Гамбургером: *Hamburger J. James Mill on Universal Suffrage and the Middle Class // Journal of Politics. 1962. Vol. 24. P. 167–190*; см. также: *Hamburger J. Intellectuals in Politics, John Stuart Mill and the Philosophic Radicals. New Haven; L., 1965. P. 48–53.*

политической властью, будут угнетаемы теми, кто ею обладает. Голосование есть политическая власть; или, по крайней мере, отсутствие права голоса есть отсутствие политической власти. Поэтому каждый нуждается в избирательном праве ради самозащиты. Ничто меньшее, чем принцип «один человек — один голос», не может защитить всех граждан от правительства.

Но нельзя сказать, что Джеймс Милль с большим энтузиазмом относился к демократии; не больше, чем Бентам. Ибо в той же статье «Правление», где он выступал за всеобщее избирательное право, Милль проявил удивительную изобретательность, рассматривая, может ли ограниченное избирательное право обеспечить каждому гражданину такую же защиту его интереса, как всеобщее, и доказывал, что будет вполне безболезненным исключить всех женщин, всех мужчин до сорока лет и треть наиболее бедного мужского населения старше сорока.

Аргументация невероятно грубая. Его общий принцип гласит, что «все индивиды, чьи интересы, без всякого сомнения, включены в интересы других, совершенно спокойно могут быть исключены»³⁰. Этот принцип представляется вполне логичным, однако его конкретное применение выглядит слишком бесцеремонным и высокомерным. Прежде всего, считает Милль, это относится к женщинам, так как «интерес почти всех из них заключен в интересе их отцов или их мужей»³¹. Это также позволяет исключить всех мужчин до определенного возраста, относительно которого «вполне возможна значительная свобода выбора. Предположим, в качестве такого возраста будет определено сорок лет... вряд ли можно принять ради

³⁰ *Mill J. An Essay on Government / E. Barker (ed.). Cambridge, 1937. P. 45.*

³¹ *Ibid. P. 45.*

блага всех сорокалетних мужчин какие-либо законы, которые бы не служили благу всех других членов общества». И «подавляющее большинство пожилых мужчин имеют сыновей, чьи интересы они рассматривают как свои. Это закон человеческой природы. Поэтому нет большой опасности в том, чтобы в таком деле интересы молодых были принесены в жертву интересам пожилых»³². (В 1820 г. Миллю было 47 лет.)

Когда же речь заходит об ограничениях, связанных с собственностью или доходом, Милль даже не пытается применить свой принцип включенных интересов. Он задается вопросом, нельзя ли между слабыми ограничениями, которые не принесут пользы, и жесткими, которые создадут аристократию богатства, найти такое решение, «которое лишит избирательных прав людей с небольшой собственностью или без собственности и в то же время приведет к образованию такой группы избирателей, интересы которой будут идентичны интересам сообщества»³³. Хотя здесь поставлен вопрос об идентичности интересов, ответ представляет собой некие расчеты, касающиеся противоположных интересов. Ответ Милля таков: имущественный ценз, исключаяющий до трети населения (предположительно треть мужчин старше сорока), вполне допустим, так как каждый из оставшихся двух третей, кто будет иметь голос и кто, конечно, заинтересован в притеснении составляющих одну треть исключенных, «будет иметь лишь половину выгоды от притеснения одного человека. В этом случае выгода доброго правительства, выгодного всем, будет, как можно ожидать, перевешивать выгоду дурного управления, в котором заинтересованы некоторые избиратели. Поэтому доброе

³² *Mill J. An Essay on Government. P. 46–47.*

³³ *Ibid. P. 49.*

правительство будет вполне безопасно»³⁴. С другой стороны, имущественный ценз, который приведет к исключению более половины населения, нежелателен, потому что это будет означать, что каждый избиратель «будет иметь выгоду, равную той, что можно извлечь от притеснения более чем одного человека»³⁵: этой выгоде нельзя будет сопротивляться, так что и дурное правление будет обеспечено.

Едва ли мы можем избежать вопроса, почему Джеймс Милль, столь последовательно выступив за всеобщее избирательное право, вообще поставил вопрос об исключениях, не говоря уже о том, что он пришел к выводу о допустимости столь жестких ограничений? Около десяти двенадцатых всего взрослого населения лишались права участвовать в голосовании (половина по половому признаку; по крайней мере половина остальных по возрасту; из оставшейся четверти — одна треть по имущественному признаку). Мягко говоря, это дает основание для того, чтобы не рассматривать Милля вполне искренним демократом. Почему он пришел к таким выводам, и в особенности, почему допускал имущественный ценз? И почему, сказав все это, он завершает свою аргументацию возвращением к утверждению всеобщих выборов и говорит, что все это не представляет опасности, так как средний класс всегда будет направлять громадное большинство низших классов?

Допущение такого рода исключений может быть объяснено тем, что Милль, как и Бентам, прежде всего был заинтересован в электоральной реформе, которая подорвала бы господствующий зловещий интерес узкого класса землевладельцев и богачей, державших все под контролем вплоть до реформы 1832 г. В дан-

³⁴ Ibid. P. 50.

³⁵ Ibid.

ном случае он был гораздо активнее, чем Бентам: он не устранился, но пытался, не без успеха, заставить олигархию провести реформу 1832 г. (которая не предполагала полного мужского участия в выборах), ссылаясь на вероятность народной революции в случае, если такая реформа не состоится, хотя сомнительно, что он сам верил в вероятность такого революционного поворота³⁶. Но он хорошо понимал важность поддержки этой реформы со стороны как рабочего класса, так и среднего класса: он был убежден в важности общественного мнения, включая мнение обоих этих классов. Поэтому, продвигая реформу, он должен был избежать обид со стороны представителей этих классов.

Не допуская к выборам женщин, Милль никоим образом не обижал ни один из этих классов: как считал и Бентам, и скорее всего, совершенно справедливо, общественное мнение было совсем не готово к тому, чтобы допустить женщин к голосованию. Идея исключить всех мужчин моложе сорока была настолько нелепой, что не могла обидеть никого. Можно было, конечно, обратить внимание на то, что такое ограничение в большей степени снизит число избирателей из рабочего класса по сравнению с состоятельными гражданами, имея в виду пропорционально меньшее число бедных, достигших сорока лет, но этот пункт, судя по всему, не привлек внимание критиков Милля: так, Маколей, один из наиболее дотошных критиков, обратил внимание на недостаточность аргументов Милля против женского участия в выборах³⁷, но со-

³⁶ Ср.: *Hamburger J. James Mill and the Art of Revolution. New Haven, 1963. Ch. 3.*

³⁷ *Macaulay T. Mill's Essay on Government // Edinburgh Review. 1829. March, reprinted in: The Miscellaneous Writings and Speeches of Lord Macaulay. L.: Longmans, Green, 1889 (Popular Edition). P. 174.*

вершено проигнорировал его аргументы в пользу исключения мужчин младше сорока (по-видимому, с его точки зрения, они не заслуживали внимания).

Единственную трудность для Милля представлял имущественный ценз. Выступить за избирательное право для всех мужчин без всякого имущественного ограничения значит вызвать негативную реакцию со стороны значительной части среднего класса; отстаивать имущественные ограничения, которые лишат избирательного права значительную часть рабочего класса, значит потерять его поддержку. Поэтому Милль, как это ни странно, занял позицию, аналогичную той точке зрения, которую он приписывал выразителям тех, кого он относил к оппозиционной партии правящего класса, и именно таким образом вышел из положения.

В статье в первом номере радикального *Westminster Review* (январь 1824 г.) в рубрике «О периодической печати» Милль повел яростную атаку на *Edinburgh Review*, которое, по его мнению, было выразителем антиправительственного (anti-Ministerial) крыла правящего класса. Дилемма этой партии, по его словам, состояла в том, что ее члены, чтобы дискредитировать правительство и войти в него, должны были заручиться поддержкой неправящих классов, поскольку их мнение воздействовало на правящий класс «частью как зараза, частью по убеждению и частью из страха»; но в то же время они не могли выступить против существующих привилегий правящего класса, в максимальной возможной поддержке которого они нуждались, чтобы самим войти в правительство, и частью которого они, несомненно, являлись. «Поэтому в своих речах и писаниях они обычно мечутся из одной крайности в другую». То они защищают интересы правящего класса, то — интересы народа. «Написав несколько страниц с одной точки зрения, они должны столько же написать

с другой. Неважно, насколько один набор принципов на самом деле противоречит другому, и получается, что несогласованность не очень видна или вряд ли очевидна для самой партии, которая хотела бы, чтобы обман не был замечен»³⁸.

Метания самого Милля в статье «Правление» очень похожи: несогласованность двух его наборов принципов — одного, требующего всеобщего избирательного права, и другого, допускающего колоссальные исключения из этого правила, — «не очень видна» потому, что он утверждает ограниченное право голоса только гипотетически. Позднее он отрицал то, что он *отстаивал* исключение женщин, равно как и мужчин в возрасте до сорока лет; его сын сообщал, что его отец лишь задавался вопросом о том, где допустимый предел ограничений, если придется такие ограничения вводить³⁹; однако сам характер текста статьи указывает на то, что он рассматривал ограничения избирательного права не как прискорбную, но необходимую уступку политическому реализму, а как нечто полезное, поскольку это обеспечит правильный выбор со стороны избирателей⁴⁰.

Колебания Милля, нашедшие выражение в статье «Правление», вполне отчетливо проявляются и тогда, когда он в самом конце заверяет читателей в том, что исключение низших классов не представляет никакой опасности, поскольку большая часть представителей этих классов всегда будут направляемы средним клас-

³⁸ Westminster Review. 1824. January. Vol. I. P. 218.

³⁹ Mill J.S. Autobiography / Laski H. (ed.). Oxford World's Classics, 1924. P. 87–88.

⁴⁰ Например, его утверждение, что «слишком низкий имущественный ценз не принесет никакой пользы, поскольку не обеспечит более правильный выбор по сравнению с такой ситуацией, когда вообще не будет никакого имущественного ценза» (Mill J. An Essay on Government. P. 49).

сом. Такие заверения, адресованные среднему классу, Миль мог считать вполне разумными, так как даже в результате исключения беднейшей трети мужского населения рабочий класс оставался в большинстве.

Спустя десять лет после публикации статьи «Правление» и шесть лет после проведенного им анализа собственных колебаний он обрел способность выразить свою позицию с большей ясностью. В статье, где он выступал в защиту тайного голосования, он писал: «По нашему мнению, дело управления есть собственно дело богатых, и они всегда будут брать бразды правления в свои руки — или дурными способами, или добрыми. От этого все и зависит. Если они будут добиваться этого дурными способами, правление будет дурным. Если же они добьются этого добрыми способами, и правление, конечно же, будет добрым. Единственным правильным способом в данном случае являются свободные выборы, осуществляемые народом»⁴¹. В этих словах прекрасно отражен сам дух первой модели, высшая точка ее оптимизма: демократические выборы не только защищают граждан, они даже улучшают поведение богатых в качестве управляющих. Едва ли в данном случае можно говорить о духе равенства.

6. ПРОТЕКЦИОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА РЫНКА

Таков был генезис первой модели демократии Нового времени. Она не вдохновляет и не является продуктом вдохновения. Демократические принципы были включены в эту модель с запозданием. Трудно сказать, что в большей степени послужило причиной того, что создатели этой модели сделали выборы демократиче-

⁴¹ On the Ballot // Westminster Review. 1830. July.

скими в принципе: было ли это убеждение в том, что ничто меньшее, чем правило «один человек — один голос», не умиротворит рабочий класс, который обнаруживал признаки превращения в ясно выраженную политическую силу (что выражалось в сделанном в 1820 г. замечании Бентама о том, что они вряд ли удовлетворятся меньшим); или же здесь действовала жесткая логика, характерная для их собственного обоснования реформы и опирающаяся на представление о конфликтующих индивидах, преследующих эгоистические интересы. В любом случае ясно, что они позволяли себе приходиться к демократическим выводам лишь потому, что убедили себя в том, что громадное большинство рабочего класса, несомненно, последует совету и примеру «этого здравого, этого добродетельного сословия» — среднего класса. Именно на этой ноте Джеймс Милль завершает свою, несколько двусмысленную, аргументацию в пользу демократических выборов.

Таким образом, в этой основополагающей модели демократии для современного промышленного общества нет никакого энтузиазма относительно демократии; здесь отсутствует идея, что она может быть морально преобразующей силой; она есть не что иное, как логическое требование, касающееся управления по природе своей эгоистичными и конфликтующими индивидами, которые, как считается, бесконечно желают своей собственной, частной выгоды. Защита демократии основывается на представлении о том, что человек есть бесконечный потребитель, что его главная мотивация — максимизировать поток удовольствия или пользы, текущий от общества в его сторону, и что нация есть просто скопление таких индивидов. Ответственное правительство, даже если оно ответственно перед демократическим электоратом, нужно для того, чтобы защищать индивидов и способство-

II. Модель 1: протекционная демократия

вать производству валового национального продукта, и больше ни для чего.

Я нарисовал грубый, но, думаю, верный портрет первой модели современной западной демократии. У нее нет ничего общего с более ранними, относящимися к доиндустриальной эпохе, представлениями о демократическом обществе. Ранние версии исходили из представления о новом типе человека. Рассмотренная модель либеральной демократии воспринимала человека таким, каков он есть, каким его сделало рыночное общество, и считала его не поддающимся изменениям. Прежде всего именно по этому вопросу Джон Стюарт Милль и его последователи в XX в., либералы-гуманисты, расходились с Бентамом и его моделью. Однако, как мы увидим в следующей главе, они не смогли вполне освободиться от влияния этой модели. Ибо эта модель была слишком созвучна соревновательному капиталистическому рынку и тем индивидам, которые им сформированы. А это общество и эти индивиды, несмотря на отвращение, которое испытывали к ним гуманисты, оставались в силе и в конце XIX в., и в XX в. Это отвращение вызвало к жизни вторую модель, которую впервые сформулировал Джон Стюарт Милль; однако укрепление рыночного общества и человека рынка с самого начала ослабляло эту вторую модель.

III. Модель 2: демократия развития

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОДЕЛИ 2

Как мы убедились, ни у Бентама, ни у Джеймса Милля не было видения нового типа общества или нового типа человека. Они не нуждались в таком видении, потому что не сомневались в том, что их модель общества — энергичное конкурентное рыночное общество со всеми его классовыми разделениями — оправдана высоким уровнем материального производства и что неравенство неизбежно. В любом случае таков закон человеческой природы, что каждый индивид всегда будет стараться использовать любого другого, а поэтому с обществом сделать ничего нельзя. Все, что можно сделать, — это помешать правительству притеснять управляемых, а для этого достаточно защитных механизмов демократических выборов.

Однако где-то в середине XIX столетия два изменения в этом обществе обратили на себя внимание либеральных мыслителей — изменения, которые требовали совсем другой модели демократии. Одно состояло в том, что рабочий класс (который Бентам и Джеймс Милль считали неопасным) стал восприниматься как представляющий опасность для собственности. Другое — в том, что условия жизни рабочего класса становились столь явно бесчеловечными, что чуткие либералы не могли смириться с этим обстоятельством — или как морально оправданным, или как экономически неизбежным. Оба указанных изменения создали новые трудности для либерально-

демократической теории — трудности, которые, как мы увидим, так никогда и не были вполне преодолены. Но эти перемены сделали очевидной необходимость новой модели демократии. Ее впервые предложил Джон Стюарт Милль.

То, что Милль-младший пришел к формулированию Модели 2 вследствие двух разворачивавшихся на его глазах изменений, явствует из его собственных сочинений. Он очень хорошо видел растущую воинственность рабочего класса: революции 1848 г. в Европе и феномен чартистского движения в Англии произвели на него сильное впечатление. То же самое надо сказать о росте грамотности рабочего класса, распространении газет для рабочих и развитии организационных способностей рабочего класса, проявившихся в росте профсоюзов и обществ взаимопомощи. Милль был уверен, что «бедных» больше не удастся держать на расстоянии и в подчинении.

Так, в своих «Основах политической экономии» он писал (1848):

В отношении трудящихся людей, по крайней мере в наиболее передовых странах Европы, можно с уверенностью утверждать, что патриархальной или покровительственной системе правления они никогда больше не подчинятся. Этот вопрос был решен уже тогда, когда их научили читать, и тем самым они получили доступ к газетам и политической литературе; когда была проявлена терпимость в отношении крамольных проповедников, проникающих в их среду и взывающих к их сознанию и чувствам с целью противостоять убеждениям, которые исповедуются и поддерживаются правящими классами; когда их собрали в большом числе для совместной работы под одной крышей; когда железные дороги предоставили им возможность переезжать с места на место и менять покровителей и работодателей столь же легко, как и одежду; когда их начали побуж-

дать к тому, чтобы они добивались участия в управлении государством при помощи избирательного права. Трудящиеся классы взяли дело защиты своих интересов в собственные руки и неизменно проявляют свою убежденность в том, что их интересы не только не совпадают с интересами их работодателей, но и противоречат им. Некоторые представители высших классов питают себя надеждой, что с подобными стремлениями можно покончить путем религиозного и морального воспитания, однако они упустили время для организации такого воспитания, которое способствовало бы достижению поставленной цели. Принципы реформации проникли так же глубоко в общество, как умение читать и писать, и бедняки более не захотят воспринимать моральные нормы и религиозные верования в соответствии с предписаниями других людей... Бедняки уже выросли из детских штанишек, и ими нельзя руководить, как малолетними, и относиться к ним, как к детям... Любые наставления, увещевания и указания, предназначенные трудящимся классам, должны подаваться им как равным и восприниматься ими совершенно сознательно. Перспективы на будущее определяются тем, насколько удачными окажутся попытки превратить их в мыслящие существа¹.

Вывод о том, что нужно что-то делать, с ясностью обнаружился в 1845 г. и был тем уроком, который Джон Стюарт Милль извлек из чартистского движения.

Демократическое движение среди трудящихся классов, известное как чартизм, было первым открытым размежеванием интересов, чувств и мнений между рабочей частью населения и всеми, стоящими выше. Это было восстанием почти всех активных способностей и

¹ Милль Дж.С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии. М.: Эксмо, 2007. С. 772–773, 774.

III. Модель 2: демократия развития

в значительной мере физической силы рабочих классов против того положения, которое они занимают в обществе. На совестливых и сочувствующих людей среди правящих классов этот протест не мог не произвести сильного впечатления. Они могли лишь спросить себя с опаской: чем на это ответить? Каким образом оправдать существующее общественное устройство перед лицом тех, кто считает, что потерпел от него ущерб? Представляется крайне желательным, чтобы польза, которую получают бедные от этого устройства, была бы не столь сомнительна — была бы такой, чтобы ее нельзя было с легкостью проигнорировать. Если у бедных есть причины испытывать недовольство, значит, высшие классы не исполнили своего долга как управляющие; если у них нет таких причин, то все равно высшие классы не выполнили своего долга, поскольку допустили, что бедные выросли столь невежественными и неразвитыми, чтобы разделять эти вредные заблуждения. Если представители одного типа ума среди успешных классов испытали влияние политических требований, выдвинутых трудящимися, то были и люди другого типа, на которых это явление повлияло иначе, хотя и породило тот же результат. Если одни, видя физические и моральные условия, в которых живут рабочие классы, чувствуют, что *следует* позаботиться об этих условиях, то другие понимают, что, хочешь не хочешь, а *придется* о них позаботиться. Победа 1832 г., ставшая возможной благодаря демонстрации, хотя и не применению, физической силы, преподавала урок тем, кто по самой природе вещей всегда имел силу на своей стороне и кто лишь хотел устроить все так, чтобы преобразовать физическую силу в моральную и социальную (что вскоре и произошло). Стало ясно, что надо что-то делать, чтобы народные массы с большей благосклонностью принимали существующее положение вещей².

² Mill J.S. The Claims of Labour [1845]; reprinted in: Dissertations and Discussions [1867]. Vol. II. 188–190; Collected Works / J.M. Robson (ed.). Toronto; L., 1977. Vol. IV. P. 369–370.

Что надо было, в частности, сделать, «чтобы народные массы с большей благосклонностью принимали существующее положение вещей», — так это отказаться от бентамовской модели человека и общества или ее трансформировать. Хотя Джон Стюарт Милль надеялся на то, что рабочий класс в будущем сможет стать настолько разумным, чтобы признать законы политической экономии (как он их понимал), он не мог ожидать, что этот класс примет идею Бентама, согласно которой рабочий класс неизбежно будет находиться у черты бедности. Он и не желал этого, так как считал, что это ложная идея. Он думал, что трудящиеся сами смогут вырваться из тех жалких условий, в которых они находились. И он страстно желал, чтобы они смогли это сделать, потому что переживал моральный протест, видя ту жизнь, которую они были вынуждены вести. Что Милль отвергал и что трансформировал в бентамовской модели человека, общества и демократии, будет ясно, когда мы подробно рассмотрим (в следующем разделе) его теорию, однако на некоторых существенных отличиях нужно остановиться прямо сейчас.

Разительное отличие этих двух моделей демократии касается определения цели демократической политической системы. Нельзя сказать, что Милль не придавал значения защитной функции демократических выборов — функции, которую так подчеркивали Джеймс Милль и Бентам. Люди нуждаются в защите от правительства: «люди являются защищенными от зла со стороны других лишь в той мере, в какой они обладают властью над бытием (*power of being*) и способностью к *самозащите*»³. Но он видел нечто гораздо более важное, что нуждалось в защите, а именно — возможность улучшения человечества. Поэтому он

³ Милль Дж.С. Рассуждения о представительном правлении. Челябинск: Социум, 2006. С. 49.

делал акцент не просто на функционировании механизма демократии, а на том, как она может содействовать человеческому развитию. Модель демократии Милля — это моральная модель. От первой модели ее наиболее резко отличает моральное видение возможностей улучшения человечества, а также свободного и равноправного общества, которое еще не достигнуто. Ценность демократической политической системы заключается в том, что она является средством такого улучшения — необходимым, хотя и недостаточным; и демократическое общество рассматривается одновременно как результат такого улучшения и как средство дальнейшего совершенствования. Ожидаемое улучшение — это увеличение степени личного саморазвития всех членов общества, или, по выражению Джона Стюарта Милля, «общий умственный прогресс... прогресс в умственном и нравственном развитии и в практическом умении». Преимущество демократической политической системы состоит в том, что она способствует этому прогрессу лучше, чем какая-либо другая политическая система, а также наилучшим образом использует «уже существующие нравственные, умственные и активные силы с тем, чтобы придать им наиболее влияния в общественной деятельности»⁴. Ценность (стоимость) человека определяется той степенью, в какой он развил свои человеческие способности: «конечная цель» человека... состоит в наивозможно гармоническом развитии всех его способностей в одно полное и состоятельное целое»⁵.

Это обращает нас к самому корню модели демократии Милля. Этот корень — модель человека, весьма непохожая на ту, на которую опирается первая модель

⁴ Там же. С. 37.

⁵ Милль Дж.С. О свободе // О Свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половины XX века). М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 337.

демократии. Человек есть существо, способное развивать свои силы и возможности. Сущность человека в том, чтобы приводить их в действие и развивать. По своему существу человек — это не потребитель, не тот, кто присваивает, а тот, кто проявляет и развивает свои способности, а также получает от этого удовольствие. Хорошее общество — это такое общество, которое позволяет каждому и побуждает его действовать в направлении актуализации и развития своих способностей, а также получать наслаждение от этой актуализации и этого развития. Таким образом, предложенная Миллем модель желательного общества сильно отличается от той модели общества, которая соответствует первой модели демократии.

Предлагая такую модель человека и желательного общества, Милль задал тон, который стал доминировать в либерально-демократической теории и определял по крайней мере англо-американскую концепцию демократии вплоть до середины XX в. Отдельные элементы, ограничивающие значение модели Милля, были опущены позднейшими защитниками демократии развития, но центральное видение и основная аргументация сохранились. Это видение демократии, свойственное Л.Т. Хобхаусу, А.Д. Линдсею и Эрнесту Баркеру, Вудро Вильсону, Джону Дьюи и Р.М. Макиверу, — демократии, для которой предполагалось сохранить мир в ходе Первой мировой войны. Это видение все еще актуально, особенно когда либеральные общества сталкиваются с тоталитарными; хотя, как мы увидим, оно сегодня все больше уступает место другому видению, которое считается более реалистичным, т.е. третьей модели (о ней мы будем говорить в следующей главе). Но вторая модель достойна самого пристального внимания, хотя бы в силу того, что в настоящее время обнаруживается тенденция идти дальше третьей модели и вернуть демократии моральное изме-

рение под именем демократии участия (это четвертая по счету модель); при этом такого рода усилия наталкиваются на те же трудности, перед которыми оказывались приверженцы второй модели, и поэтому стоит обратить внимание на причины, по которым вторая модель в свое время потерпела неудачу.

Трудности, которые возникли при первом формулировании Модели 2, несколько отличаются от тех, что преградили путь ее более поздней версии. Поэтому будет уместным рассмотреть по очереди обе эти версии, которые мы обозначим как Модель 2А и Модель 2Б. Об одном отличии можно кратко сказать сразу. Милля сильно беспокоила несовместимость, которую он видел между провозглашением равного человеческого развития и существующим классовым неравенством, касающимся власти и богатства. Хотя он четко не определил эту проблему и поэтому не мог разрешить ее даже в теории, он видел, что это все же является проблемой, и старался с ней разобраться, по крайней мере, когда думал о необходимых социальных и экономических условиях демократии. Его последователи в XX в. едва ли вообще считали это проблемой, по крайней мере, не главной: если она не выпадала из поля их зрения, они рассматривали ее как то, что так или иначе будет или может быть преодолено — например, посредством возрождения идеалистической морали или же благодаря новому уровню общественного знания и коммуникаций.

Действительно, двигаясь от Модели 1 через Модель 2А к Модели 2Б, можно увидеть общее понижение уровня реализма. Бенгам и Джеймс Милль, формулируя Модель 1, сознавали, что капитализм предполагает значительное классовое неравенство, касающееся власти и богатства: они реалистически смотрели на необходимую структуру капиталистического общества, хотя это их не беспокоило, поскольку она не входила

в противоречие с чисто протекционной демократией. Джон Стюарт Милль с его Моделью 2А менее реалистично относился к структуре капиталистического общества: он видел *существующее* классовое неравенство, а также то, что это несовместимо с его демократией развития, но считал, что это случайность, которая поддается исправлению. Теоретики демократии развития XX в. (наша Модель 2Б) были еще менее реалистичны в этом отношении, чем Милль: обычно они рассуждали так, как если бы классовый вопрос уступил (или уступал) место плюралистическому разнообразию, которое не только лучше поддается управлению, но и само по себе позитивно и благотворно. И в конце концов, мы имеем новый антиреализм Модели 2Б — дескриптивный антиреализм.

Не возникает никакого вопроса относительно реалистичности двух первых моделей (1 и 2А) как *описаний* существующей демократической системы, так как в XIX в. ни в одной стране не было правительства, избранного с участием всех мужчин, не говоря уже о всеобщих выборах⁶. Эти две модели представляли собой утверждения о том, что необходимо для того, чтобы обеспечить как минимум защиту, а как максимум саморазвитие всех. Однако в первой половине XX в., когда по крайней мере участие всех мужчин в выборах

⁶ Хотя в большинстве штатов США белые мужчины обладали избирательным правом с середины XIX в., едва ли можно говорить о действенном участии мужчин в выборах до начала XX в. Некоторые европейские страны допустили всех мужчин для участия в выборах национального собрания в XIX в. (Франция в 1948 г., Германия в 1871 г.), однако это собрание не избирало и не контролировало правительство. В Великобритании еще в 1811 г. только 50% взрослых мужчин обладали избирательным правом, т.е. были включены в список избирателей при выборах в парламент. См.: *Blewett N. The franchise in the United Kingdom 1885–1918 // Past and Present. 1965. No. 32.*

стало общим правилом в передовых западных странах, вполне можно было бы ожидать, что предлагаемая модель будет реалистичной и как дескриптивное утверждение. Модель 2Б претендует на то, что она есть утверждение о том, чем по своему существу является существующая система (что нередко означает: чем существующая несовершенная система могла бы стать), а также утверждение о ее желательности. Однако в качестве утверждения о том, как демократическая система в действительности функционирует, Модель 2Б весьма неточна, на что и обращают внимание экспоненты Модели 3. Таким образом, о Модели 2Б можно сказать, что она вдвойне нереалистична: она неспособна ни выразить неизбежных последствий капиталистического общества, ни описать актуальную либерально-демократическую систему XX в.

Предвосхитив еще один шаг в движении нашей аргументации, сейчас можно сказать, что ныне доминирующая Модель 3, которая кичится своим реализмом и в качестве описательной и объясняющей модели, и в качестве указания на необходимые пределы демократического принципа эффективного гражданского участия, в конечном счете терпит неудачу в обоих этих направлениях.

2. МОДЕЛЬ 2А: ДЕМОКРАТИЯ РАЗВИТИЯ ДЖ.С. МИЛЛЯ

Я подчеркивал, насколько отличается модель желательного общества Дж.С. Милля от модели Бентама и Джеймса Милля. Это отличие можно уточнить. Бентам и Джеймс Милль принимали существующее капиталистическое общество без оговорок; Джон Стюарт Милль — не принимал. Это отличие ясно выражено в позиции младшего Милля, касающейся желательности «стационарного состояния», которое он, как и его

предшественники, считал кульминацией капитализма: они относились к такому состоянию с беспокойством, он его приветствовал. В 1848 г. он писал:

Сознаюсь, что я вовсе не очарован жизненным идеалом тех, кто считает нормальным состоянием человеческих существ борьбу за преуспевание, и не уверен, что необходимость раздавить, уничтожить, растолкать локтями, обогнать всех остальных — составляющая основную черту современной общественной жизни — представляет собой лучшую судьбу, которую человечество может себе пожелать, а не всего лишь неприятные проявления одного из этапов прогресса производства. Возможно, что это необходимая стадия развития цивилизации... Однако это вовсе не тот вид общественного совершенства, которое вызовет у филантропов будущего горячее желание оказать содействие в его реализации... Тем временем люди, не считающие современную раннюю стадию человеческого совершенствования последним этапом этого процесса, могут быть оправданы в их относительном безразличии к тому типу экономического прогресса, который вызывает восторги традиционных политиков, а именно к простому расширению производства и увеличению накопления⁷.

Согласно Модели 2, обществу не нужно и следует становиться таким, каким его видит Модель 1, причем навсегда. Оно не должно быть скоплением соревнующихся, конфликтующих эгоистичных потребителей и приобретателей. Оно может и должно быть сообществом тех, кто приводит в действие и развивает свои человеческие способности. Но сейчас оно не таково. Проблема в том, чтобы подвинуть его к развитию в этом направлении. Демократию надо защищать потому, что она сообщает всем гражданам прямой инте-

⁷ Милль Дж.С. Основы политической экономии. М.: Эксмо, 2007. С. 765, 766.

рес в действиях правительства и стимул к активному участию, по крайней мере, посредством голосования за или против правительства и также, как можно надеяться, посредством получения информации и формирования своих взглядов в дискуссии с другими. В сравнении с любыми олигархическими системами, сколь бы благотворны они ни были, демократия вовлекает людей в деятельность правительства тем, что пробуждает во всех них практический интерес, который может иметь последствия, потому что голоса избирателей могут привести к отставке правительства. Таким образом, демократия способна сделать людей более активными, более энергичными; она будет способствовать их прогрессу «в интеллекте, в добродетели и в практической деятельности и результативности».

Это довольно масштабное притязание для системы представительного правления, в которой политическая активность каждого обычного человека ограничивается голосованием за члена парламента, проводимым раз в несколько лет, немного чаще — за членов местного собрания, и, возможно, занятием каких-то локальных выборных должностей. Но даже если это и так, такое притязание вполне уместно в сравнении с любой олигархической системой, которая подавляет общий интерес и вовлеченность. В свете этого сравнения демократию можно воспринимать как систему, ведущую к самоутверждающему прогрессу граждан, их росту в моральном, интеллектуальном и деятельностном отношении, так что каждый наш шаг в этом участии порождает новые способности и готовность к большему.

Но здесь Милль сталкивается с трудностью, которая оказывается непреодолимой. Чтобы разобраться с этим, мы должны обратиться к другому важному различию между Джоном Стюартом Миллем и Бентамом. Речь идет о различии в моральной оценке существую-

щего общества, которое было различием в определении счастья или удовольствия, т.е. того, что оба они считали необходимым максимизировать.

Бентам считал, что при вычислении наибольшего счастья следует принимать во внимание только величину недифференцированного удовольствия (и боли), действительно испытываемого индивидами. Никакого качественного различия удовольствий не предполагалось: детские игры так же хороши, как и поэзия. И поскольку, как мы видели, он измерял наибольшее удовольствие или пользу в терминах богатства, совокупное максимальное счастье всего общества достигается для него через максимизацию производительности (хотя и этот вывод ложен, как мы уже отмечали).

Дж.С. Милль, напротив, считал, что между удовольствиями существуют качественные различия, и отказывался приравнивать наибольшее совокупное счастье к максимуму продуктивности. Величайшее совокупное счастье может быть достигнуто вследствие того, что индивидам будет позволено развивать самих себя и что их будут побуждать к этому. Это сделает их способными к более высоким удовольствиям, и таким образом возрастет совокупное счастье, измеряемое как с точки зрения количества, так и с точки зрения качества.

Но в то же время — и это фундаментальное различие — Милль сознавал, что существующее распределение богатства и экономической власти имеет следствием невозможность для большинства представителей рабочего класса развиваться вообще или даже вести вполне человеческую жизнь. Он осуждает как предельно несправедливую такую ситуацию, когда

такое распределение продуктов труда, какое мы видим выше, — распределение, находящееся почти в обратной пропорции к труду, так что наибольшая доля достается

III. МОДЕЛЬ 2: ДЕМОКРАТИЯ РАЗВИТИЯ

людям, которые вовсе никогда не работали, несколько меньшая доля тем, работа которых почти номинальна, и так далее по нисходящей, с сокращением вознаграждения по мере того, как труд становится все тяжелее и неприятнее, и вплоть до того, что люди, выполняющие самую утомительную и изнурительную физическую работу, не могут с уверенностью рассчитывать на то, что заработают хотя бы на самые насущные жизненные потребности...⁸

Все это, говорит он, прямо противоположно единственному «справедливому принципу» — принципу «пропорциональности между вознаграждением и трудом». Такой принцип справедлив, потому что единственное оправдание института частной собственности заключается в том, что он гарантирует индивидам «плоды их собственного труда и бережливости», а не «плоды труда и бережливости других людей»⁹.

Несколькими страницами ниже Милль дает развернутое определение собственности:

Сведенный к основной своей сути, институт собственности заключается в признании за каждым человеком права на исключительное распоряжение предметами, которые этот человек, мужчина или женщина, создал собственным трудом или получил, либо в дар, либо по справедливом соглашению, без применения силы или обмана, от людей, создающих эту вещь. Основой всего является право работающего на то, что он сам произвел¹⁰.

Это представляется разумным расширением провозглашенного ранее принципа, по крайней мере в том, что касается «честного согласия», хотя «дар» ста-

⁸ Милль Дж.С. Основы политической экономии. С. 277.

⁹ Там же. С. 278.

¹⁰ Там же. С. 286.

вит проблему. Без права собственности на то, что по согласию получают взамен плодов своего труда, невозможно даже самое простое товарное хозяйство. Однако Милль говорит о капиталистическом товарном хозяйстве, когда продукция является результатом сочетания трудовой деятельности и капитала, предоставляемого кем-то другим, и когда в качестве своей доли трудящийся получает только заработную плату, а капиталист получает все остальное, и эти доли определяются рыночным соревнованием. Милль считал, что такие отношения тоже оправданны. Говоря о том, что капиталист приобретает в результате найма работника по соглашению, он писал:

Таким образом, право собственности включает свободу приобретения по соглашению. Право каждого на произведенное им предполагает право на предметы, произведенные другими, если предметы получены по добровольному согласию, поскольку эти другие люди должны уступить продукты своего труда либо по своей доброй воле, либо обменять их на нечто, что они считают эквивалентом продукта своего труда, и препятствовать им в этом — значит ограничивать их права собственности на продукт своего труда¹¹.

С точки зрения Милля, владелец капитала должен иметь долю в продукте, и это совместимо с принципом справедливости, потому что капитал — это просто продукт предшествующего труда и воздержания. Это оправдывает распределение продукции между наемными работниками и владельцами капитала: в силу соревнования между капиталистами за работников и между работниками за рабочие места существует честное разделение между теми, кто вкладывает свой актуальный труд, и теми, кто вкладывает плоды про-

¹¹ Милль Дж.С. Основы политической экономии. С. 288.

шлого труда и воздержания. Милль понимает, что капитал обычно создается не трудом и воздержанием его нынешнего владельца, но думает, что достаточно объяснил распределение труда и капитала, сказав, что нынешний владелец капитала «с гораздо большей вероятностью» получил его в дар или по добровольному соглашению, а не в результате несправедливого отъема у тех, кто создал его своим прошлым трудом¹².

Тот факт, что нынешние владельцы могли получить часть своего капитала даром, т.е. по наследству, создает для Милля некоторые трудности: это кажется явно противоречащим его принципу справедливости относительно собственности. Но он считал, что право распоряжаться собственностью, оставленной в наследство, является существенной частью права собственности. Самое большее, на что он мог пойти, — это положить количественный предел тому, что один человек может унаследовать. Но этот предел был столь высоким — каждый может унаследовать столько, чтобы получить «средства для обеспечения благосостояния и независимости»¹³, — что это никоим образом не снимало противоречия. Милль прибегнул к следующему аргументу: «если правда состоит в том, что рабочие находятся в невыгодном положении по сравнению с теми, чьи предшественники сделали сбережения, то такой же правдой является и то, что это положение рабочих намного лучше того, в котором они оказались бы, если бы предшественники капиталистов не сделали сбережений»¹⁴.

Таким образом, Милль удовлетворился тем, что нет никакого противоречия между его принципом справедливости относительно собственности — возна-

¹² Там же. С. 286–287.

¹³ Там же. С. 295.

¹⁴ Там же. С. 287.

граждение пропорционально усилию — и принципом вознаграждения пропорционально рыночной стоимости как капитала, так и актуального труда, необходимого для капиталистического производства.

И все же, как мы видели, он находил действительное доминирующее распределение продуктов труда абсолютно несправедливым. Он обнаружил объяснение этого несправедливого распределения в исторической случайности, а не в самом капиталистическом принципе.

Принцип частной собственности еще никогда не был подвергнут справедливому испытанию в какой-либо стране — и по сравнению с некоторыми другими странами в Англии он испытан, возможно, даже меньше. Общественное устройство стран современной Европы берет начало из распределения собственности, которое было результатом не справедливого раздела или приобретения посредством усердия, а завоевания и насилия; и несмотря на все сделанное трудом на протяжении многих веков для модификации того, что было сделано насильем, существующая система сохраняет многочисленные и значительные следы своего происхождения¹⁵.

Именно это изначальное насильственное распределение собственности, а не что-либо в самом принципе собственности и капиталистического предпринимательства как такового, привело к имевшему место жалкому положению основной массы рабочего класса, о несправедливости которого так откровенно говорил Милль: «основная масса рабочих в Англии и большинстве других стран имеет столь же малую возможность выбирать занятие и столь же малую свободу передвижения, находится практически в такой же зависимости от установленных правил и воли других людей,

¹⁵ Милль Дж.С. Основы политической экономии. С. 277.

что меньшей свободой она могла бы пользоваться разве что при абсолютном рабстве»¹⁶.

Таким образом, возложив вину на первоначальное феодальное насильственное распределение собственности и на отсутствие в дальнейшем таких законов, которые исправили бы это положение, Милль мог полагать, что капиталистический принцип никоим образом не ответствен за существующее несправедливое распределение богатства, дохода и власти, и даже считал, что постепенно он уменьшает эту несправедливость. Милль так и не увидел, что капиталистические рыночные отношения увеличивают или замещают любое изначальное несправедливое распределение, так как прибавляют к капиталу часть стоимости, добавленной в процессе труда, и таким образом постоянно увеличивают объем капитала. Если бы Милль это увидел, он не мог бы полагать, что капиталистический принцип совместим с его принципом справедливости. Не поняв этого, он не чувствовал здесь фундаментальной противоречивости и не беспокоился по данному поводу.

Однако нынешнее униженное положение большинства рабочего класса представляло для Милля серьезную и насущную проблему, и он прямо ее ставил. Трудность состояла в том, что в том положении, в котором находились представители этого класса, они были неспособны мудро распорядиться политической властью. Милль верил, что люди *могут* изменяться, переставая быть эгоистичными выгодоприобретателями, но при этом считал, что большинство из них пока еще недалеко ушли от этого состояния. Было бы глупо, говорил он, ожидать, что средний человек, если ему дать право голоса, реализует это право, «бескорыстно думая о других и, особенно, о тех, кто при-

¹⁶ Там же. С. 279.

дет после него — о будущих поколениях, о стране или о человечестве».

Политические формы существуют для народа, каким он есть, или каким он может стать в ближайшем будущем. При всяком состоянии культуры, какого уже достигло или, вероятно, скоро достигнет человечество или какой-нибудь класс людей, задаваясь только эгоистическими интересами, будут руководствоваться почти исключительно теми из них, которые слишком очевидны и более соответствуют данному их положению¹⁷.

Если это так, то что получится, если у каждого будет право голоса? Скорее всего, мы опять будем иметь общество, состоящее из эгоистов.

Но это не самое страшное, чего можно ожидать. Ибо Милль сознавал, что современные общества разделены на два класса, интересы которых, с точки зрения этих классов, противоположны; и сам Милль считал их таковыми в некоторых важных пунктах. Говоря грубо, это рабочий класс (к которому он относил мелких торговцев) и класс работодателей, включающий тех, кто живет на нетрудовые доходы, и тех, кто «по своему воспитанию и образу жизни походят на людей богатых»¹⁸. Рабочий класс, конечно же, был более многочисленным. Поэтому принцип «один человек — один голос» будет означать классовое законодательство, т.е. законодательный процесс в интересах только одного класса, который, как можно ожидать, будет следовать «собственным эгоистическим склонностям и узким понятиям личного благополучия вопреки справедливости и во вред всем остальным клас-

¹⁷ Милль Дж.С. Рассуждения о представительном правлении. С. 59.

¹⁸ Там же. С. 127.

сам и потомству»¹⁹. Поэтому нужно что-то сделать, чтобы не позволить более многочисленному классу «направлять ход законодательной и административной деятельности согласно со своими исключительными классовыми интересами» (даже если это было бы меньшим злом по сравнению с нынешним классовым правлением, которое осуществляет небольшой по численности класс, опирающийся просто на сложившееся распределение богатства)²⁰.

Проблема, с которой столкнулся Милль, была подлинной дилеммой, так как его главным аргументом в отстаивании всеобщего избирательного права была идея о том, что оно имеет существенное значение в качестве средства, продвигающего людей по пути саморазвития через участие. В качестве решения Милль предлагал систему множественного голосования для представителей меньшего по численности класса, так чтобы ни один из двух классов не перевесил другого и потому никогда не смог бы навязать «классовое законодательство»²¹.

Каждый должен иметь право голоса, но некоторые должны иметь право голосовать несколько раз. Или каждый, за некоторыми исключениями, должен иметь право голоса, а некоторые — нескольких голосов. В своей работе «Мысли о парламентской реформе», опубликованной в 1859 г., Милль писал, что совершенная избирательная система требует, чтобы каждый человек обладал правом одного голоса и некоторые — правом более чем одного голоса; и он говорит, что ни одно из этих правил нельзя принимать без другого. Однако в «Рассуждениях о представительном правлении» он выступает за предоставление некоторым права пода-

¹⁹ Там же. С. 126.

²⁰ Там же. С. 166.

²¹ Там же. С. 182.

вать несколько голосов и одновременно за то, чтобы других вообще лишить права голоса. Это требование исключить некоторых из голосования отражает факт принятия Миллем стандартов рыночного общества. Получающие пособие по бедности должны быть исключены: они — неудачники на рынке. Это относится и к не восстановленным в правах банкротам, а также ко всем, кто не платит прямых налогов. Милль знал, что бедные платят не прямые налоги, однако, говорит он, они этого не чувствуют, и потому будет опрометчивым использовать их голоса ради требования большей щедрости со стороны правительства. Требование, чтобы избиратели платили прямые налоги, не имело целью лишить бедных голоса: выход заключался в том, чтобы заменить некоторые не прямые налоги прямым подушным налогом, который платили бы даже бедные. Кроме того, должны быть исключены те, кто не умеет читать, писать и считать. Опять же это требование не было хитрым способом исключить из процесса голосования большое число бедных людей, так как Милль считал, что долгом общества является обеспечение начального образования для всех, кто желает его получить. Однако в реальности это требование исключило бы бедных, так как он считал, что если общество не исполнило этого своего долга (что, очевидно, применительно ко времени Милля), исключение из числа избирателей тех, кто страдает от неграмотности, является той «несправедливостью, которой приходится покориться»²².

Независимо от того, приведут ли эти требования к исключению из процесса голосования значительного числа людей, все равно необходимо вводить право обладания несколькими голосами, для чего есть и иные

²² Милль Дж.С. Размышления о представительном правлении. С. 171.

основания. Система множественных голосов не только воспрепятствует классовому законодательству: она будет благотворна потому, что даст больше голосов «тем, чье мнение имеет право на большее внимание»²³ в силу более высокого интеллекта или большего развития умственных или практических способностей. Самый грубый показатель этого — характер занятий человека: работодатели, деловые люди и квалифицированные специалисты по самой природе своей работы в целом являются более интеллектуальными и более знающими, чем обычные наемные работники, а потому у них должно быть больше голосов. Бригадир как более смысленный, чем простые рабочие, а также квалифицированное рабочее как более развитые, чем не имеющие квалификации, тоже могут получить более чем один голос. Если следовать обозначенной Миллем задаче не допустить, чтобы рабочий класс в целом имел голосов больше, чем класс работодателей и собственников, представители последнего должны были бы получить значительно больше, чем два голоса каждый, однако Милль не стал вдаваться в детали. Самое большее, что он сделал в этом направлении, это те предложения, которые он сформулировал в сочинении «Мысли о парламентской реформе»: если необученный рабочий имеет один голос, то квалифицированный должен иметь два; мастер (или бригадир) — возможно, три; фермер, фабрикант или торговец — три или четыре; человек интеллектуального труда или писатель, художник, публичное должностное лицо, выпускник университета и выборный член научного общества — пять или шесть²⁴. Предложенная Миллем градация показательна: предприниматель («фермер, фабрикант или торговец») с тремя или четырьмя голо-

²³ Там же. С. 123.

²⁴ *Mill J.S. Collected Works. Vol. XIX. P. 324–325.*

сами недалеко ушел от бригадира, тогда как очевидное предпочтение отдается интеллектуалам, художникам и образованным специалистам с пятью или шестью голосами. Кстати, довольно любопытно, что Милль с его озабоченностью избирательными правами женщин ничего не говорит о том, как решать вопрос о числе голосов для женщин, которые не являются ни наемными работниками, ни работодателями, ни специалистами, ни владельцами собственности.

Принципиально важным во всем этом является ясная позиция Милля относительно того, что множественность голосов на основе бóльших достижений желательна в *позитивном* смысле, а не только в *негативном* — как способ предотвращения классового законодательства:

Я не предлагаю этого принципа [множественности голосов], как нечто само по себе нежелательное, вроде исключения части общества от пользования избирательным правом, которое может быть временно терпимо, как меньшее из двух зол. Я не смотрю на общую подачу голосов, как на меру, которая хороша сама по себе, при условии, чтобы устранены были связанные с нею неудобства. Я смотрю на нее, как на относительное благо, вызывающее меньше сомнений, чем неравенство, основанное на незначительных или случайных обстоятельствах, но в *принципе несостоятельное*, потому что устанавливает ложное мерило и оказывает вредное влияние на настроение избирателя. Можно говорить только о вреде, а не о пользе, когда основные законы страны провозглашают, что невежество имеет такое же право, как и знание, на политическую власть²⁵.

Таким образом, Джона Стюарта Милля нельзя считать полным эгалитаристом. Некоторые индивиды не

²⁵ Милль Дж.С. Рассуждения о представительном правлении. С. 186 (Курсив мой. — К.М.).

просто лучше других, но лучше именно в том, что касается политического процесса, лучше в смысле большего политического веса. Верно, что одна из причин придания этим некоторым индивидам большего веса состоит в том, что так будет лучше для общества, по крайней мере, в негативном смысле: это снизит вероятность того, что в законодательном и управленческом процессе будут преобладать кратковременные и узко эгоистические интересы, являющиеся следствием равновесности. Неравенство веса с большей вероятностью приведет к обществу, являющемуся демократическим в лучшем смысле слова, т.е. к обществу, где каждый сможет максимально развить свои способности. И все же представление о неравенстве политического веса присутствует в модели Милля более фундаментальным образом: пока люди неравны в знании (а когда они перестанут быть таковыми?), признание равного веса является неправильным в принципе.

Придание особого значения знанию и умению привело Милля к тому, что он выступил с предложением, чтобы парламент сам не инициировал никаких законов, но ограничивался их одобрением или отвержением, или же отправлял их на доработку, но сам не вносил бы изменения в законопроекты, которые должна представлять парламенту некая экспертная и не избираемая комиссия. Понятно раздражение Милля, связанное с существующими парламентскими и правительственными процедурами, но меры, которые он предлагает, ослабили бы власть избранного законодательного органа и тем самым способствовали бы только ослаблению стимулов демократических избирателей к участию в избирательном процессе. Если бы он это сознавал, то не возражал бы против существующих процедур, но он слишком высоко ценил экспертизу.

Так что модель Милля, т.е. изначальная Модель 2, является в буквальном смысле шагом назад по срав-

нению с Моделью 1, которая предполагала, по крайней мере в принципе, правило «один человек — один голос». Однако в своем моральном измерении Модель 2 более демократична, чем Модель 1. Модель 2 не удовлетворяется индивидами, какие они есть, человеком как безудержным потребителем и приобретателем. Она предполагает движение к обществу, состоящему из более развитых индивидов и потому более близких к равенству. Она стремится не к тому, чтобы навязать людям утопию, а к тому, чтобы люди сами достигали цели, совершенствуя себя посредством активного участия в политическом процессе, когда каждый акт такого участия приводит к укреплению их политических потенций, а также к продвижению в общем развитии, и делает их способными в большему участию и дальнейшему саморазвитию.

Теперь нетрудно указать и на дефекты и противоречия в модели Милля. Очевидным примером здесь является вопрос об участии и саморазвитии. Участие в политическом процессе необходимо для улучшения качества людей и самого этого процесса. Однако участие, предполагающее равный вес, будет лишь способствовать сохранению низкого качества. Поэтому тех, кто уже достиг более высокого качества, на что указывает их образование и социальное положение, не следует заставлять уступать свою власть остальным. Во имя равного саморазвития право вето дается тем, кто является более развитым. Но согласно модели Милля, менее развитые индивиды, если они остаются в ее рамках (т.е. если они принимают более низкий электоральный вес, отведенный им Миллем), поймут, что их воля не превозможет, а потому не будут иметь достаточно сильного стимула для участия — и потому не станут более развитыми.

Более глубокая проблема, лежащая в основе обозначенной, связана с моделью человека и общества у

Милля. Люди, сформированные существующим конкурентным рыночным обществом, недостаточно хороши, чтобы сделать себя лучше. Милль сокрушается по поводу воздействия существующего рыночного общества на человеческий характер, когда каждый агрессивно ищет лишь своей материальной выгоды. Сильнее всего он осуждает существующие отношения между трудом и капиталом, унижающие как трудящегося, так и капиталиста. Он считает, что достойное человеческое общество невозможно, пока эти отношения не будут трансформированы. Он возлагает надежды на масштабное распространение кооперативов, когда работающие сами станут своими капиталистами и будут совместно работать на себя. Он позволяет себе надеяться на то, что производственные кооперативы приведут к такому уровню квалификации и будут настолько более эффективными производственными единицами, что вытеснят капиталистическую организацию производства.

В то же время он принимал и поддерживал унаследованные капиталистические институты собственности, по крайней мере до тех пор, пока они не изменяться или не трансформируются производственными кооперативами; и даже тогда будет действовать соревновательная рыночная система, поскольку отдельные кооперативные предприятия будут конкурировать на рынке, имея внутренним стимулом стремление к индивидуальной выгоде. Другими словами, Милль принимал и поддерживал систему, которая требовала от индивидов действовать с точки зрения максимизации потребления и присвоения, стремясь аккумулировать средства для удовлетворения своих будущих потребностей, что означало стремление к приобретению собственности. Система, которая требует от человека, чтобы он рассматривал себя и соответственно действовал как потребитель и приобретатель, оставляет

большинству людей мало места для того, чтобы рассматривать себя и действовать с точки зрения проявления и развития своих способностей. Милль действительно питал надежду на то, что распространение кооперативов приведет к «нравственному перевороту в обществе»:

будет преодолена постоянная вражда между капиталом и трудом; преобразится человеческая жизнь, и борьба классов из-за противоположных интересов уступит место дружескому соперничеству в стремлении к достижению общего блага; возрастет уважение к труду; появится новое чувство обеспеченности и независимости в трудящихся классах, а ежедневные занятия каждого человека превратятся в школу социальной доброжелательности и практической мудрости²⁶.

Эти радужные надежды не оправдались. Классовое противостояние сохранилось, и поскольку оно не было компенсировано чем-то другим, оставалась необходимость разбавлять демократию. Ибо рациональное поведение каждого из этих классов состоит в том, чтобы одолеть противостоящий класс, а отсюда и опасность классового правительства, которую видел Милль, и необходимость лишать политического веса каждого представителя более многочисленного класса в пользу каждого члена менее многочисленного класса, и порочный круг неравного участия, оправдывающего сохранение неравного участия.

²⁶ Милль Дж.С. Основы политической экономии. С. 61. Это странным образом контрастирует с заявлением Милля, сделанным в 1838 г.: «Численное большинство любого общества всегда должно состоять из людей, находящихся на одном социальном уровне и в основном преследующих одни и те же цели, а именно — из представителей неквалифицированного ручного труда...» (*Mill J.S. Bentham // Collected Works. Vol. X. P. 107*).

Таким образом, неудача кооперативного решения вопроса оставила нерешенным противоречие, которое Милль видел между всеобщими равными выборами и наибольшим счастьем общества. Выхода из этой ситуации не было, если принять во внимание его представление о том, что рабочий класс использует равное избирательное право для введения классового законодательства, несовместимого с долгосрочным, качественным и наибольшим счастьем всего общества.

В основе указанного противоречия лежало другое — противоречие между капиталистическими производственными отношениями как таковыми и демократическим идеалом равных возможностей индивидуального саморазвития. Этого противоречия Милль так вполне и не осознал. Он вплотную подошел к такому осознанию, когда критиковал *существующие* отношения труда и капитала (особенно когда морально противопоставлял их отношениям кооперативным); однако, как мы уже отмечали, в своем анализе капиталистических рыночных отношений как таковых он оправдывал частное владение капиталом и соглашение найма как в принципе совместимые со справедливой системой.

Можно было бы подумать, что наличие двух столь серьезных недостатков в либерально-демократической теории Милля станет достаточной причиной того, что в конце XIX — начале XX в. она утратит свое положение образцовой *модели* либеральной демократии, которое было завоевано ею в середине XIX столетия. Но этого не произошло, и нетрудно увидеть, почему.

Во-первых, указанное противоречие могло бы привести к отвержению этой теории только в том случае, если бы последователи Милля рассматривали это противоречие как изъян в его теории. Но на самом деле, как мы увидим в заключительном разделе этой главы, позднейшие либерально-демократические теоретики

еще меньше, чем сам Милль, сознавали наличие какого-либо фундаментального противоречия между капиталистическими рыночными отношениями и равными возможностями индивидуального саморазвития. Поэтому они могли разделять и действительно разделяли аргументацию Милля в пользу демократии развития.

Во-вторых, несовместимость, которую Милль видел между всеобщими и равными избирательными правами и существующим противоречием классовых интересов, в начале XX столетия как будто исчезла. Страх Милля перед установлением классового правления в случае всеобщих равных выборов оказался необоснованным, по крайней мере в то время. Бентам и Джеймс Милль были правы, когда утверждали, что рабочий класс будет следовать за средним классом, хотя, как я покажу, их правота была обусловлена совсем другими причинами. В любом случае, когда впервые в Англии было введено равное право голосования для всех мужчин, в 1884 г., спустя 11 лет после смерти Милля, а также и в дальнейшем, это не привело к классовому правлению со стороны рабочего класса. Поэтому последователи Милля могли с легкостью отвергнуть антиэгалитарные составляющие его модели — множественность голосов и понижение статуса избранных законодателей в пользу комиссии экспертов, — и в то же время разделять его взгляды относительно демократии развития.

Поэтому мы не будем говорить о Модели 2А как о неудачной модели. Либеральные демократы в целом продолжали разделять ее основные пункты, тем более что антиэгалитарные элементы можно было отбросить. Они были отброшены отчасти потому, что перестали быть необходимыми, а отчасти потому, что стало ясно: что-либо подобное совершенно неприемлемо перед лицом грозных народных движений²⁷. Но

²⁷ Сила подобных движений с очевидностью проявилась в реакции на реформы 1867 г. (Reform Bill), непосредственным

это позволило тому, что осталось от Модели 2А, прекрасно существовать в XX в. в качестве Модели 2Б. Стойкий успех ведущих политиков в XIX в. и самой системы в XX в., отводя опасные следствия демократических выборов, продолжил жизнь Модели 2 вплоть до середины XX в. И она утратила свою силу не потому, что ее критики в середине XX в. — экспоненты Модели 3 — осознали или разоблачили ее внутренние противоречия, — ибо они до этого не дошли. Она исчерпала свою силу совсем по другим причинам, к рассмотрению которых мы и должны теперь обратиться.

3. УКРОЩЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВА ГОЛОСА

Прежде чем рассмотреть успехи поздней модели демократии участия, нам следует выяснить причины, по которым равное избирательное право для мужчин не привело к классовому правлению, которого так опасался Милль, что дало возможность позднейшим либеральным демократам использовать основные аргументы Милля. Это поможет нам понять как силу влияния поздней модели демократии участия вплоть до середины XX в., так и окончательную утрату этого влияния.

Случилось то, чего Милль не предвидел и вряд ли мог предвидеть. Но интересно, что позднейшие теоретики демократии развития, которые развивали Модель 2Б, судя по всему, не понимали этого, хотя тогда

и заинтересованным наблюдателем которых был и Милль. Он отозвал свою поддержку радикальной Лиги реформы (Reform League), когда понял, что она апеллировала к физической силе для выполнения своих бескомпромиссных требований относительно выборов (Mill to W.R. Cremer, 1 March 1867, *Later Letters // Collected Works*. Vol. XVI. P. 1247-1248). См. также: *Harrison R. Before the Socialists, Studies in Labour and Politics 1861-1881*. L.; Toronto, 1965. Ch. 3).

они должны были бы это понять. И я собираюсь показать, что их неспособность понять это и привела к поражению Модели 2Б и ее замещению Моделью 3.

Причина, по которой равное право голоса для мужчин не привело к классовому правлению, чего так опасался Милль, — это исключительный успех партийной системы, позволивший укротить демократию. Это важно потому, что, хотя этот успех и сообщил Модели 2 новую жизнеспособность, он же стал в конце концов ее могильщиком. Произошло это потому, что этот успех сделал актуальный демократический политический процесс по большей части неспособным обеспечить действенный уровень участия, о котором говорили и на которое надеялись, а также добиться того личного развития и той моральной общности, которые представляли собой главное логическое обоснование либеральной демократии. Именно это настолько дискредитировало Модель 2, что в середине XX в. ее смогла вытеснить гораздо более реалистичная Модель 3, которую мы будем рассматривать в следующей главе.

Как же партийная система спасла модель демократии развития и позволила ей сохранить свое влияние — в исправленном виде, с допущением всеобщих выборов — еще на полстолетия или даже больше? Как партийной системе удалось предотвратить классовый переворот, которого опасался Милль, и тем самым позволить либералам сохранить образ демократии развития после введения равного права голоса? Всеобщее и равное голосование, конечно же, давало перевес голосам наемного рабочего класса в более развитых индустриальных странах и голосам фермеров и других мелких независимых предпринимателей (или тем и другим вместе) в менее индустриально развитых странах; и в обоих случаях следовало ожидать конфликта интересов с собственниками сложившихся капиталов.

Каким образом столь механическая и нейтральная вещь, как система конкурирующих партий, предотвратила захват власти подчиненным, но более многочисленным классом (или классами)? Разве партийная система, поскольку она эффективно представляет численный вес представителей разных интересов, не должна в реальности способствовать совершению переворота, вместо того, чтобы его предотвращать? И все же во всех западных демократиях такой переворот был предотвращен и именно благодаря инструментам партийной системы.

В разных странах это происходило по-разному: отчасти в зависимости от классовой структуры общества, отчасти от того, существовала ли в стране до введения демократических выборов ответственная недемократическая партийная система, отчасти в зависимости от других отличий, характерных для национальной традиции. Я не могу предложить здесь анализ всех непростых различий тех способов, посредством которых партийные системы выполняли одну и ту же основную функцию в таких разных странах, как Англия, Соединенные Штаты, Канада и страны Западной Европы. И все же, если несколько отвлечься от обычного описания функций партийной системы, нетрудно увидеть, что ее главная функция состоит не просто в достижении устойчивого политического равновесия, но в установлении особого вида равновесия.

Я думаю, не будет преувеличением сказать, что главная функция, которую исполняет партийная система в западных демократиях со времен введения демократического права голоса, состоит в том, чтобы ослаблять ожидаемый или возможный классовый конфликт или, если угодно, смягчать и сглаживать конфликт классовых интересов с целью сохранения существующих институтов собственности и рыночной системы от эффективных нападений. Это менее

заметно в Америке по сравнению с Европой, где соотношение между партией и классом, как правило, более очевидно. И это менее заметно, чем могло бы быть, для любого наблюдателя XX в. именно в силу того, что партийная система успешно вытеснила из поля зрения классовые проблемы, которые в XIX в. были гораздо более заметными.

Можно сказать, что функцию размывания классовых границ, и как следствие, сглаживания конфликтующих классовых интересов одинаково хорошо выполняли все три разновидности партийных систем: 1) двухпартийная (или система двух доминирующих партий), даже если партии имели своим намерением представлять противоположные классовые интересы, как это было в Англии в случае с лейбористской и консервативной партиями; 2) двухпартийная система (или система двух доминирующих партий), когда каждая из основных партий является свободной организацией, представляющей многие региональные и групповые интересы, как это было в случае Соединенных Штатов и Канады; или 3) многопартийная система, когда существует так много партий, что правительство обычно представляет собой коалицию, как во многих западноевропейских странах. В первом случае каждая партия стремится занять среднюю позицию, что означает, что она должна избегать явно выраженной классовой позиции. Она должна это делать, чтобы обрести имидж национальной партии, отстаивающей общее благо, так как без такого имиджа она рискует не получить долгосрочной поддержки большинства. Во втором случае каждая из основных партий вынуждена действовать подобным образом и даже более того: каждая из них должна представлять программу, отражающую чаяния всех людей и потому весьма неопределенную. Верно, что в такой системе третья или четвертая партия может поначалу занять позицию, отражающую

определенные классовые интересы, но если такая партия достигает масштаба, соизмеримого с основными партиями, так что может претендовать на замещение одной из них, ей придется делать то же, что и они. В третьем случае, т.е. при действительно многопартийной системе, когда ни одна партия обычно не может ожидать поддержки большинства, ни одна партия не может давать избирателям четких обещаний, потому что и она, и избиратели знают, что партия будет вынуждена постоянно идти на компромисс в условиях деятельности коалиционного правительства.

Далее, совершенно справедливо, что ни одна из этих трех размытых систем не могла бы работать так, как она работает, если бы биполярное классовое разделение в стране в целом пересиливало как чувство национальной идентичности, так и все групповые, религиозные, этнические и иные встречные течения. Ни одна из этих систем не могла бы выполнять свою функцию, если бы численно превосходящий экономический класс отличался единомыслием и если бы его представителей не тянуло в разные стороны под воздействием этих самых встречных течений или традиционных привязанностей. Но если так и происходило во всех этих странах в период становления демократического права голоса, были и другие факторы, ослаблявшие ожидаемое биполярное разделение между теми, кто поддерживал, и теми, кто скорее отвергал существующую систему собственности и рыночной конкуренции. В XIX в. в Северной Америке континентальная экспансия и свободные земли создали самый многочисленный класс — класс независимых фермеров и других мелких трудящихся собственников, мелкой буржуазии: они желали частного капитализма и рыночной экономики при условии, что это не будет служить укреплению позиций капиталистов коммерческих метрополий. В тот же период, в конце XIX —

начале XX в., имперская экспансия, в которую были вовлечены Англия и большинство других западноевропейских стран, позволила их правительствам давать подачки своим избирателям, что снизило давление со стороны рабочего класса, требовавшего фундаментальных реформ. Если бы не было этих факторов, откровенно нейтральная партийная система не смогла бы сделать свою работу. Но даже учитывая эти факторы, следует утверждать, что без партийной системы такая работа вряд ли могла быть сделана. Партийная система во всех своих вариантах была тем средством, с помощью которого размывались существовавшие в глубине классовые различия.

Партийной системе была присуща способность к производству такого эффекта и по другой причине. С каждым расширением избирательных прав партийная система по необходимости становилась менее ответственной перед избирателями. Возьмем классический пример английской партийной системы. Она была эффективным средством формирования и смены правительств на протяжении более чем полувека, прежде чем появилось нечто похожее на демократические выборы. Пока право голоса имели только представители имущего класса, относительно небольшое количество избирателей в каждом избирательном округе позволяло выборщикам оказывать значительное влияние на тех, кого они избирали, и даже осуществлять над ними контроль. И поскольку члены парламента были, таким образом, подотчетны своим избирателям или, по крайней мере, партийным активистам в своем округе, т.е. своей партии на местном уровне, какой бы свободной ни была ее организация, они могли избегать контроля со стороны кабинета, т.е. ведущих членов парламентской партии.

Все изменилось с демократизацией права голоса. Апелляция к массовому электорату требовала созда-

ния хорошо организованных национальных партий вне парламентских партий. Эффективная организация требовала централизованных партийных машин. Поддержка со стороны партийной машины стала, по существу, единственным путем к избранию в парламент. Соответственно центральный партийный аппарат получил возможность контролировать своих членов парламента. Основную власть получили партийные лидеры в парламенте, потому что они, т.е. премьер-министр и его главные коллеги-министры, принимали решения относительно исключения из партии и досрочного роспуска парламента, что означало новые выборы. Таким образом, кабинет получил большие возможности для контроля над парламентом. И такая ситуация сохраняется поныне.

Но дело не только в том, что такие возможности у кабинета существуют: от него именно это и требуется. Ибо всеобщее избирательное право изменило основную функцию, которую выполняет политическая система, и эта перемена имеет своим необходимым следствием именно правительственный контроль над парламентской партией, а не контроль со стороны избирателей или же партии как таковой, вне парламента. До того как право голоса стало демократическим, функция этой системы состояла в том, чтобы реагировать на меняющиеся комбинации различных элементов в имущем классе, что лучше всего могло быть осуществлено правительствами, которые ответственны, посредством членов парламента, перед наиболее влиятельными избирателями. С введением же демократического права голоса система должна была стать посредником между требованиями двух классов — класса обладающих значительной собственностью и класса тех, кто такой собственностью не обладает. Это означало, что система должна была постоянно находить компромиссы, по крайней мере, демонстриро-

вать нахождение компромиссов. Постоянные компромиссы требуют пространства для маневра. И именно правительство должно обладать такой возможностью. В многопартийной системе, когда каждое правительство представляет собой коалицию, это понятно. Но не всегда понятно, почему пространство для маневра является столь же необходимым при двухпартийной системе (или системе двух основных партий), когда правительство, как правило, формируется из членов одной партии. Но и в этом случае необходимо пространство для маневра, потому что постоянных компромиссов требует столкновение интересов *в масштабе страны*, независимо от того, отражено ли это столкновение интересов в самом правительстве. Правительство, и особенно правительство большинства, не может обладать этим пространством для маневра, если оно непосредственно ответственно даже перед парламентской фракцией, не говоря уже о партии в целом (посредством ежегодных партийных съездов) или о местных партийных организациях. Каждая предпринимаемая реформистскими демократическими партиями и движениями попытка сделать правительство и членов парламента ответственными непосредственно перед народными организациями терпела неудачу. Достаточная причина этих неудач заключается в том, что такого рода жесткая ответственность не оставляет возможности для маневра и компромисса, которую правительство, целиком состоящее из членов одной партии, должно иметь, чтобы выполнять свою функцию посредника между противоположными классовыми интересами в масштабе всего общества.

Общий вывод из этого взгляда на партийную систему: партийная система была средством примирения всеобщих и равных выборов с сохраняющимся неравенством в обществе. Она осуществляла это посредством размывания проблем и уменьшения ответствен-

ности правительства перед избирателями. Она должна была выполнять обе эти функции, чтобы соответствовать своему призванию в обществе, где сохраняется неравенство. И таким образом она по необходимости не могла стимулировать широкое народное участие в политическом процессе, которое предполагается Моделью 2, а потому и не смогла служить развитию активного индивида как гражданина и способствовать формированию морального сообщества, что также предполагалось Моделью 2.

4. МОДЕЛЬ 2Б: ДЕМОКРАТИЯ РАЗВИТИЯ XX В.

Несмотря на все происходящие перемены, либеральные демократы все еще отстаивали теорию развития — по существу, версию Милля за вычетом предложения о множественном голосовании.

Я не буду рассматривать демократические теории начала XX в. в деталях. Но можно с уверенностью сказать, что интонация, идеал и основная аргументация почти ни отличались от миллевских у всех ведущих английских и американских теоретиков первой половины XX столетия, к какой бы философской традиции они ни относились: к идеалистической (Баркер, Линдсей, Макивер), прагматистской (Дьюи) или модифицированному утилитаризму (Хобхаус). Единственное исключение составляли те теоретики, которые откровенно старались соединить либеральные ценности с определенного рода социализмом (Коул, Ласки), но они не оказали серьезного влияния на основное направление либеральной традиции. А в основном потоке либеральной традиции этого периода наблюдался, по сравнению даже с Миллем, очевидный упадок реалистического анализа либеральной демократии.

Милль видел противоречие между своим идеалом развития и классово разделенным эксплуататорским

обществом своего времени. Он не смог его разрешить, даже в теории, поскольку недостаточно четко его осознал: он не замечал, что это было противоречие между капиталистическими производственными отношениями как таковыми и идеалом развития. Но он, по крайней мере, не считал, что демократический политический процесс сам по себе может привести к преодолению классового разделения и эксплуатации. Он возлагал свои надежды и на другие факторы — на производственные кооперативы, на повышение образовательного уровня трудящихся и проч. Эти надежды не оправдались, однако вся тяжесть ответственности все-таки не возлагалась им на демократический процесс как таковой.

Теоретики первой половины XX в. все больше упускали из вида вопросы, связанные с классами и эксплуатацией. Обычно они рассуждали так, как будто демократия, по крайней мере демократия в регулируемом государстве всеобщего благосостояния, может сделать максимум того, что можно и нужно сделать для создания благополучного общества. Нельзя, конечно, сказать, что они были нечувствительны к проблеме концентрации частной экономической власти; и они не благоволили к индивидуалистической идеологии, которую считали основой существующего порядка. Линдсей, например, резко выступал против «атомистического индивидуализма, который преследовал современную демократическую теорию с самого начала» и который он, что довольно странно, отождествлял не только с Бентамом, но и с Марксом. И он не до конца сознавал существующий контроль капитала над производством: «применение к управлению промышленностью... демократических принципов» было бы «исполнением» демократии. Но для реализации демократического контроля над бизнесом он считал достаточным контроль над монополистами. Безоговорочно

принимался суверенитет потребителей в действительно конкурентной рыночной экономике. В капиталистических производственных отношениях как таковых нет ничего дурного. В конечном счете он связывал свои демократические надежды с более активным цветением таких плюралистических неполитических демократических ассоциаций, как «церкви и университеты»²⁸.

Неоидеалистический плюрализм был сильным направлением в либерально-демократической теории начала XX в. И было некоторое оправдание или, по крайней мере, была причина того, что эти теоретики игнорировали классовое разделение. Создавалось впечатление, что демократическая партийная система разрешила эту проблему, поскольку была преодолена опасность классового правления. Однако они не видели, *каким образом* это было сделано, а именно — через ослабление способности правительств откликаться на требования избирателей, что препятствовало тому, чтобы классовое разделение имело какой-либо политический эффект. Поэтому они могли рассуждать так, как если бы демократический процесс был способом, посредством которого разумные и благонамеренные граждане, имеющие, конечно же, весьма различные интересы, могут урегулировать свои различия в ходе мирного и рационального компромиссного взаимодействия партий, групп давления и свободной прессы. Они позволили себе надеяться, что классовая проблема стала неактуальной: или потому, что ее уже вытеснили плюралистические общественные группы, или потому, что регулируемое государство всеобщего благосостояния ее настолько оттеснит, что демократическое общество станет совместимым с капиталистической рыночной экономикой.

²⁸ Lindsey A.D. The Essentials of Democracy. 2nd ed. L., 1935. P. 6, 5, 64ff, 73–74.

Так, Баркер, видя, что значимость «классового вопроса» требует обратить какое-то внимание на «приобретения и потери различных классов и групп», и признавая, что, может быть, необходимо некоторое перераспределение прав между классами, если «наибольшее число людей должно обладать наибольшей возможностью развития личных способностей», рассматривал такое перераспределение, как то, что требует «постоянного урегулирования и корректировки по мере того, как социальная мысль, касающаяся справедливости, развивается и интерпретация принципов свободы и равенства расширяется»²⁹. И он считал, что ныне требуемое урегулирование «вполне может начаться и даже иногда оставаться на уровне добровольного соглашения между добровольными ассоциациями (рабочих и работодателей), согласия, опирающегося на добровольные консультации и приводящего к добровольному сотрудничеству». Когда в ходе такого взаимодействия вырабатывается нечто «столь очевидно наилучшее», что оно вполне может стать общим правилом, тогда уместно и вовлечение государства. «В этом случае Государство, которое не является врагом Общества, но, скорее, находится с ним в отношении, напоминающем отношение юридического консультанта к семье, фиксирует и утверждает это наилучшее в качестве правила для всеобщего применения и соблюдения»³⁰.

Представление о том, что классовые различия могут быть смягчены «по мере развития общественной мысли, касающейся справедливости», и что это можно сделать посредством добровольного классового сотрудничества и с участием государства в роли семейного солиситора, было отступлением от пони-

²⁹ *Barker E. Principles of Social and Political Theory. Oxford, 1951. P. 271–272.*

³⁰ *Ibid. P. 275–276.*

мания классово́й проблемы, свойственного Миллю. И по сравнению с этим позднейшим идеалистическим упованием на добрую волю характерный для Милля утилитаристский анализ представляется трезвым и реалистичным.

В том же ключе Макивер определяет демократические государства как такие, «в которых общая воля включает сообщество как целое или, по крайней мере, бо́льшую часть сообщества и является сознательной, непосредственной и активной поддержкой формы правления»³¹. Он особо отличает демократические государства от классовых государств и утверждает, что в современных цивилизациях классы перетекают один в другой и не имеют «определенного единства интересов»³². Он обращает внимание на великое множество групп и ассоциаций, имеющих свои интересы, которые образуют социальный универсум, где наблюдаются «непрестанное движение и волнение, борьба и согласие»³³. И он рассматривает партийную систему как эффективную систему, сводящую «многообразные различия во мнениях к относительно простым альтернативам»³⁴. Задача демократического государства — задача, которую оно действительно выполняет, как бы грубо это ни выглядело, — в том, чтобы выражать и осуществлять общую волю через представление людей в качестве граждан, а не носителей определенных интересов.

Опасность не в том, что конкретные интересы не будут сфокусированы и защищены, а в том, что эти интересы могут главенствовать над общим интересом. Главной

³¹ *Maciver R.M. The Modern State. Oxford, 1926. P. 342.*

³² *Ibid. P. 403.*

³³ *Maciver R.M. The Web of Government. N.Y., 1947. P. 435; ср.: Maciver R.M. The Modern State. P. 461.*

³⁴ *Maciver R.M. The Web of Government. P. 214.*

защитой от этой опасности является государство, потому что его организация предполагает и в определенной степени осуществляет деятельность общей воли. Кроме того, мы должны понять, что посредством грубоватого метода политического представительства «плюсы и минусы» партикуляристских и оппозиционных целей, как сказал бы Руссо, в определенной мере уравниваются.

...Люди не довольствуются тем, что будут представлены просто как фермеры, или как инженеры, или как англикане, или как любители музыки или другого вида искусства и времяпровождения: они хотят быть представленными также и как граждане. В противном случае не будет выражено единство их индивидуальных жизней, равно как и единство общества. Это представительство, столь бы приблизительным оно ни было, достигается через развитие партийной системы. Мы видели, что хотя партии достаточно сильно связаны с определенными интересами, по идее и в принципе они выполняют функцию формулирования более широких позиций граждан. Если бы это было не так, государство развалилось бы на части³⁵.

Таким образом, Макивер предлагает свое видение существенной функции «государства» в виде описания функции, которую действительно, хотя и несовершенно, выполняют либерально-демократические государства посредством своих партийных систем.

Если от неоиdealистического взгляда на либеральные демократии мы обратимся к позиции прагматиста Джона Дьюи, то увидим, что последний гораздо менее снисходительно относился к их реальному функционированию. То, что идеалисты-плюралисты считали достижением, он рассматривал лишь как возможность, как то, на что можно надеяться. У него было мало иллюзий относительно действительной демократической системы или демократизма общества, в

³⁵ *Maciver R.M. The Modern State. P. 465–466.*

котором доминируют мотивы индивидуальной и корпоративной выгоды. Глубинная проблема заключается не в каких-либо недостатках механизма управления, а в том факте, что «демократическое общество во многом еще находится в зачаточном, неорганизованном состоянии» и не способно понять, с какими силами экономической и технологической организации она имеет дело³⁶. Бесполезно возиться с политическим механизмом: главная проблема связана с «отысканием тех средств, с помощью которых разобщенное и многоликое общество сможет узнать самое себя и благодаря этому определить и выразить собственные интересы»³⁷. Нынешняя неготовность публики это сделать связана с ее неспособностью понять те технологические и научные силы, которые привели ее в столь беспомощное состояние. Исправить это можно только посредством роста и распространения социального знания: «демократия — это обозначение жизни свободного, развивающегося общества. Пророком такой демократии явился Уолт Уитман. Венцом же ее станет формирование неразрывной связи между свободным социальным исследованием и искусством волнующей и всесторонней коммуникации»³⁸.

Что было нужно делать, так это не столько развивать образование — средство, на которое обращали внимание многие более ранние либералы, — сколько совершенствовать социальную науку через применение экспериментального метода и «метода кооперативно организованного разума»³⁹. «Насущной потребно-

³⁶ Дьюи Д. Общество и его проблемы. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 80.

³⁷ Там же. С. 107.

³⁸ Там же. С. 134.

³⁹ Дьюи Д. Либерализм и социальное действие // О свободе. Антология мировой либеральной мысли. С. 377.

стью... является совершение методов и условий проведения дебатов, обсуждения вопросов и убеждения граждан. В этом и состоит основная проблема общества... успешность решения данной задачи, в сущности, зависит от раскрепощения и усовершенствования исследовательских процессов и распространения выводов, полученных в результате данных исследований»⁴⁰.

Также требуется серьезный социальный контроль над экономическими силами. Размышляя под впечатлением Великой депрессии, Дьюи выступает за «плановую координацию промышленного развития»; желательно посредством добровольного согласия; возможно, с помощью «координирующего и направляющего совета, в котором капитаны индустрии и финансов встречались бы с представителями труда и государственными чиновниками, чтобы определять меры регулирования промышленной деятельности...»; в любом случае необходимо добиваться «такой степени социальной ответственности нашего бизнеса, которая положила бы конец индустрии, единственной целью которой является извлечение финансовой прибыли»⁴¹. Несколькими годами позже, отвергая «контроль многих над доступом к средствам производительного труда, выполняемого многими» и указывая на «наличие классовых конфликтов, временами приводящих к скрытой гражданской войне», он утверждал, что либерализм должен идти дальше предоставления социальной помощи и «социализировать производительные силы. Это надо сделать, чтобы свобода индивидов могла найти опору в самой структуре экономической организации»⁴². Но «силами производства», которые

⁴⁰ Дьюи Д. Общество и его проблемы. С. 151-152.

⁴¹ Dewey J. Individualism Old and New [1929]. N.Y., 1962. P. 117-118.

⁴² Дьюи Д. Либерализм и социальное действие. С. 353, 376, 381.

должны были быть социализированы, теперь стали наука и технология, совращенные со своего истинного пути. Это нельзя сделать ни через комбинирование, ни посредством социалистической революции, но только посредством «метода кооперативно организованного разума»⁴³. Хотя он неоднократно говорил о желательности «социализированной экономики»⁴⁴, не совсем ясно, что он имел в виду. Собственно анализ капитализма его не интересовал. Он был целиком поглощен перспективами демократического либерализма. Признавая, «что наши институты, будучи демократическими по форме, по содержанию направлены на поддержку привилегированной плутократии», он далее пишет:

Тем не менее явным пораженчеством было бы априорно утверждать, что демократические политические институты неспособны к дальнейшему развитию или что общество не может использовать их конструктивным образом. Формы представительного правления, даже в том виде, в каком они существуют сейчас, потенциально способны к выражению общественной воли, когда она допускает подобного рода унификацию⁴⁵.

Но приоритетной потребностью для либералов было применение к «социальным отношениям и управлению социальными процессами» «экспериментального метода и кооперативно организованного разума», который уже так много сделал «в подчинении природы потребностям человека»⁴⁶.

Дьюи, который был далек от мысли, что существующий демократический политический механизм приве-

⁴³ Там же. С. 377.

⁴⁴ Там же. С. 381, 382.

⁴⁵ Там же. С. 379–380.

⁴⁶ Там же. С. 384.

дет к желаемой трансформации общества, апеллировал не к демократическому механизму, а к демократическому гуманизму. Демократия есть «образ жизни»: она «не может сегодня зависеть только от политических институтов или выражать себя в них»⁴⁷. Гуманистический взгляд, который он считал существенным для демократии, должен быть внедрен в «каждую область нашей культуры — в науку, искусство, образование, мораль и религию, а также в политику и экономику»⁴⁸. Это следовало делать прежде всего через распространение научного мировоззрения: «будущее демократии связано с распространением научного подхода». И все это нужно делать «множественными, частичными (partial) и экспериментальными методами»⁴⁹.

Разница между прагматизмом Дьюи, имевшим сильное влияние в Соединенных Штатах в начале XX в., и плюралистическим идеализмом, доминировавшим в английской либерально-демократической мысли того же периода, невелика. Оба признавали необходимость «множественных, частичных (partial) и экспериментальных методов». Английские теоретики были больше склонны возвращаться к ценностям древних Афин; американцы — к укрощению технологии; но и те, и другие твердо верили в действенность плюрализма.

Возможно, будет правильным сказать, что все они подсознательно принимали образ демократического политического процесса как рынка — свободного рынка, на котором всё в конечном счете работает ради наибольшей пользы каждого (или ради наименьшего ущерба кого-либо). Они не прибегали к рыночной аналогии явно, потому что это было бы слишком приземленно, слишком материалистично: они все же

⁴⁷ Dewey J. *Freedom and Culture*. N.Y., 1939. P. 130, 125.

⁴⁸ Ibid. P. 125.

⁴⁹ Ibid. P. 148, 176.

были приверженцами демократического идеала индивидуального саморазвития, а рыночная аналогия предполагала бы узкое преследование ближайших эгоистических интересов. Они не хотели приписывать гражданину ограниченную рациональность рыночного человека. Но они могли и действительно приписывали гражданину такую рациональность, которая способна преодолевать несовершенства действительной демократической системы. Их побуждал к этому тот факт, что данная система выжила; Макивер, например, ссылаясь на факт ее выживания как на свидетельство того, что граждане обладают, в дополнение к своей индивидуальной воле, разумной общей волей именно как граждане и что система позволяет этой воле быть выраженной⁵⁰. Чего теоретики демократии развития XX в., как мы уже говорили, не заметили, так это того, что система выжила благодаря снижению ответственности правительств перед избирателями. Именно данное упущение позволило этим теоретикам постулировать преобладающую гражданскую рациональность и встроить ее в свою дескриптивную модель. И именно это последнее поставило их под сокрушительный удар со стороны эмпирических политических ученых середины XX в. В конечном счете это была неспособность теоретиков демократии развития увидеть разницу между актуальной демократической системой, очень похожей на рынок (хотя и не вполне конкурирующий рынок), и их идеалистическими надеждами, что и привело к замещению Модели 2А Моделью 3, очень жесткой и, как кажется, реалистичной рыночной моделью.

⁵⁰ См.: *Bentham J. Plan of Parliamentary Reform. 1818 edn. P. 35–37, 41n.*

IV. Модель 3: демократия равновесия

1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ РЫНОЧНАЯ АНАЛОГИЯ

Модель 3, которая стала доминировать в середине XX в., была предложена в качестве замены потерпевшей неудачу Модели 2. Она — до известной степени, не всегда осознаваемой, — представляет собой возрождение и развитие Модели 1. Здесь имеется в виду одновременно ее соответствие рыночному обществу и буржуазному человеку и ее все возрастающая неадекватность.

Я назвал Модель 3 моделью равновесия. Равным образом ее вполне можно назвать, как это порой и делают, плюралистической элитистской моделью. Возможно, единственно правильным описательным наименованием будет такое, которое соединяет все три термина: «плюралистическая элитистская модель равновесия», — поскольку в данном случае равно важны все три характеристики. Плюралистическая — потому что она опирается на представление, что общество, которому должна соответствовать современная демократическая политическая система, является плюралистическим, т.е. составленным из индивидов, каждый из которых, в соответствии со множеством своих интересов, устремлен в разных направлениях — то вместе с одной группой сограждан, то с другой. Элитистская — потому что главная роль в политическом процессе отведена самоназначенным группам лидеров. Модель равновесия — потому что она пред-

полагает, что демократический процесс есть система, поддерживающая равновесие между спросом и предложением политических благ.

Впервые систематически, хотя и кратко, Модель 3 была сформулирована в 1942 г. Йозефом Шумпетером в нескольких главах его влиятельной книги «Капитализм, социализм и демократия». Позднее она укрепилась и приобрела авторитет благодаря трудам многих политических ученых, которые развили и обосновали ее посредством множества эмпирических исследований, посвященных тому, как ведут себя избиратели в западных демократиях и как существующая западная политическая система реагирует на их поведение¹.

Главные исходные посыпки таковы: во-первых, демократия есть просто механизм избрания и легитимации правительств, а не какой-то тип общества или набор моральных целей; и, во-вторых, этим механизмом является конкуренция между двумя или более самоназначенными группами политиков (элитами), оформленными в качестве политических партий, за голоса, которые приведут их к власти до следующих выборов. Роль избирателей не в том, чтобы решать политические вопросы, а затем избирать представителей, которые будут проводить в жизнь эти решения, а в том, чтобы избрать людей, которые будут принимать решения. Так, Шумпетер пишет: «роль народа состоит в создании правительства... демократический метод — это такое институциональное устройство для принятия политических решений, в котором индивиды приобретают власть принимать решения путем

¹ Главные работы: *Berelson B.R., Lazarsfeld P.F., McPhee W.N. Voting. Chicago, 1954; Dahl R.A. A Preface to Democratic Theory. Chicago, 1956; Dahl R.A. Who Governs? New Haven, 1961; Dahl R.A. Modern Political Analysis. Englewood Cliffs, N.J., 1963; Almond G.A., Verba S. The Civic Culture. Princeton, 1963.*

конкурентной борьбы за голоса избирателей»². Здесь конкурирующие индивиды — это, конечно, политики. Роль граждан состоит просто в том, чтобы периодически, в момент голосования, сделать выбор между группами политиков. Возможность заменить таким образом одно правительство другим защищает граждан от тирании. И в той степени, в какой существует разница в платформах партий или в основных направлениях политики, ожидаемых от каждой партии (на основе ее заявлений), сформировавшей правительство, избиратели, отдавая предпочтение одной из партий, обозначают свое желание получить один, а не другой набор политических благ. Поставщики этих благ, получившие большинство голосов, становятся легитимными правителями вплоть до следующих выборов: они не могут быть тиранами, потому что грядут следующие выборы.

Модель 3 намеренно отказывается от того морального содержания, которое вкладывала в идею демократии Модель 2. Уже нет вздорной идеи, что демократия — это средство улучшения человечества. Участие не является ни ценностью само по себе, ни даже инструментальной ценностью, позволяющей воспитывать людей с более высоким уровнем социальной ответственности. Цель демократии — фиксировать желания людей, каковы они есть, а не способствовать их развитию в направлении того, какими они могли бы быть или могли бы желать быть. Демократия есть просто рыночный механизм: избиратели — это потребители, а политики — предприниматели. Неудивительно, что человек, впервые предложивший эту модель, был экономистом, который всю свою профессиональную жизнь работал с рыночными моделями.

² Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. С. 355.

Неудивительно и то, что политические теоретики (а затем публицисты и читающая публика) восприняли эту модель как реалистическую, ибо они тоже жили и работали в обществе, насквозь проникнутом рыночным поведением. Рыночная модель не только казалась соответствующей действительному политическому поведению основных составных частей политической системы — избирателей и партий, — а потому и объясняющей это поведение; она также служила оправданием этого поведения, а потому и всей системы.

Ибо в середине XX в., когда еще не казалось наивным говорить о суверенитете потребителей на экономическом рынке, нетрудно было увидеть его параллель на рынке политическом: политические потребители суверенны, потому что могут выбирать поставщиков политических благ. Политическим теоретикам было нетрудно разделять принципы теоретиков экономических. В рамках экономической модели предприниматели и потребители рассматривались с точки зрения их рационального стремления к максимизации собственного блага, а также с точки зрения их поведения в условиях свободной конкуренции, предполагающей, что все силы и ресурсы задействованы на рынке и что в результате рынок обеспечивает оптимальное распределение труда и капитала, а также потребительских товаров. Соответственно в политической модели политики и избиратели были поняты с точки зрения рациональной максимизации и поведения в условиях свободной политической конкуренции, так что в результате похожая на рынок политическая система обеспечивает оптимальное распределение политической энергии и политических благ. Демократический политический рынок обеспечивает оптимальное равновесие затрат и отдачи: энергии и ресурсов, которые люди вкладывают в него, и вознаграждений, которые получают в ответ. Мне уже приходилось отмечать в дру-

гом месте³, что в то время, когда политические ученые переняли эту экономическую модель, она уже была отброшена или сильно видоизменена экономистами в свете олигополистической модели экономики. Однако представление о суверенитете потребителей все еще принимается в плюралистической политической модели и служит ее имплицитным оправданием.

В этой модели присутствует еще один рыночный принцип. Она не только считает, что политический человек, как и экономический человек, является по своему существу потребителем и приобретателем. Согласно этой модели то, чего разные люди ждут от правительства (т.е. спрос на политические блага), столь различно и изменчиво, что единственный способ удовлетворить этот спрос, единственный способ добиться от правительства его учета, единственный способ обеспечить требуемое предложение политических благ и их пропорциональное распределение в соответствии с мириадами запросов — это предпринимательская система, подобная той, что свойственна стандартной модели конкурентной рыночной экономики. Если иметь в виду, что политический спрос столь разнообразен, что никакой естественный или спонтанный набор запросов не сможет соответствовать ясной позиции большинства, а также что в демократии правительство должно выражать волю большинства, то из этого следует, что необходим некий способ, который позволил бы выявить волю большинства из этого многообразия запросов или который привел бы к серии решений, наиболее приемлемых либо наименее неприемлемых ввиду многообразия индивидуальных запросов. И в данном случае в качестве лучшего или единственного спо-

³ Macpherson C.B. *Democratic Theory: Essays in Retrieval*. Oxford, 1973. Essay X.

соба рассматривается система политических партий предпринимательского типа, предлагающих наборы политических благ в разных конфигурациях, из которых большинством голосов выбирается один. Такая система обеспечивает стабильное правительство, уравнивающее спрос и предложение.

Очевидно, что этот плюрализм Модели 3 имеет нечто общее с тем плюрализмом, который мы видели в Модели 2Б. Но здесь есть и существенное качественное различие. Плюрализм Модели 3 отбрасывает этический компонент, занимавший столь важное место в Модели 2Б. В данном случае граждане рассматриваются просто как политические потребители, а политическое общество — просто как рыночное по своему характеру отношение между ними и поставщиками предметов потребления.

Из этого краткого описания Модели 3 и тех оснований, на которые она опирается, мы видим, что она претендует на то, чтобы указывать на реальное содержание доминирующей системы и объяснять в рыночных терминах, почему эта система так хорошо работает. Мы также уже отмечали, что это объяснение довольно легко переходит в оправдание. Прежде чем более подробно рассмотреть вопрос об адекватности Модели 3 как модели описывающей, объясняющей и обосновывающей, следует обратить внимание на те различия если не в существе, то в акцентах, которые присутствуют у некоторых ведущих экспонентов этой модели.

Эти различия касаются не столько описания, которое они дают, сколько оценки возможностей системы. Все они рассматривают граждан как политических потребителей с весьма различными желаниями и запросами. Для всех двигателем системы является конкуренция между политиками за голоса избирателей. И все они считают, что этот механизм порождает

устойчивое равновесие. Различия касаются того, насколько система также обеспечивает политическим потребителям некоторую меру суверенитета. Шумпетер довольно низко оценивает степень такого обеспечения. Он считает, что избиратели по большей части сталкиваются с уже сделанными за них выборами⁴ и что давление, которое они могут оказывать на правительство в период между выборами, не очень эффективно.

Другие аналитики более оптимистичны в том, что касается действенности предпочтений потребителей. Роберт Даль находит «несколько неудачным» в «блестящем в иных отношениях анализе» Шумпетера высказываемое последним мнение, что «выборы и активность в период между выборами имеют ничтожное значения для определения политики». Но самое большее, что Даль может сказать в пользу этих проявлений активности, — что «эти процессы имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы политические лидеры как-то учитывали предпочтения некоторых обычных граждан»⁵; или что «при всех ее недостатках [американская политическая система] все же создает высокую степень вероятности, что какая-либо активная и легитимная группа заставит себя услышать на каком-то этапе процесса принятия решений... она представляется довольно эффективной системой укрепления согласия, поощрения сдержанности и поддержания социального мира в среде беспокойного и необузданного народа, системой, действующей в громадном, сильном, многообразном и невероятно сложном обществе»⁶. В более поздней работе Даль чуть выше оценивает способность этой системы к реагиру-

⁴ См. сноски 23 и 24 ниже.

⁵ *Dahl R.A. A Preface to Democratic Theory. P. 131.*

⁶ *Ibid. P. 150–151.*

ванию: «большинство граждан... обладают некоторой степенью косвенного влияния, так как избранные чиновники постоянно помнят о реальных или воображаемых предпочтениях избирателей, когда решают, какую политику одобрить, а какую отвергнуть»⁷.

Иногда встречаются и более серьезные оценки. Например, во влиятельном исследовании Берельсона, Лазарсфельда и Макфи «Голосование» авторы, показав, что в американской политической системе граждане вовсе не похожи на рациональных граждан Модели 2, и отметив, что система тем не менее работает (т.е. не превратилась в диктатуру и не привела к гражданской войне) и «часто работает отлично»⁸, делают вывод: в ней есть какое-то скрытое достоинство. Должно быть, действует нечто вроде знаменитой «невидимой руки» Адама Смита.

Если демократическая система зависит исключительно от качеств индивидуального избирателя, тогда удивительно, что демократия выжила на протяжении веков. Изучив в подробностях и выяснив, как индивиды не различают политическую реальность или как они реагируют на иррелевантные социальные влияния, задаешься вопросом, как вообще демократия может разрешать свои политические проблемы. Но если подходить к этому в более широкой перспективе — задаваясь вопросами о том, как значительные сектора общества приспособляются к затрагивающим их политическим условиям или как политическая система приспособляется к изменяющимся условиям в течение долгих периодов, — трудно не впечатлиться общими результатами. Когда рациональные граждане отступают, тогда вступают ангелы⁹.

⁷ Dahl R.A. Who Governs? P. 164.

⁸ Berelson B.R. et al. Voting. P. 312.

⁹ Ibid. P. 311.

Этот отголосок Адама Смита не должен удивлять, потому что Берельсон и соавторы действительно склонны приписывать успех Модели 3 ее рыночной природе: ничто другое, кроме магии рынка, не может объяснить успеха этой системы, и не нужно ничего другого, чтобы ее оправдать.

2. АДЕКВАТНОСТЬ МОДЕЛИ 3

Мы уже отмечали, что Модель 3 претендует на то, чтобы быть описанием, объяснением и отчасти обоснованием действительной политической системы западных демократий. Задаваясь вопросом о том, насколько адекватна эта модель в каждом из своих измерений, мы должны признать, что столкнемся с известными трудностями, если будем рассматривать каждое из этих трех измерений отдельно, поскольку они часто перетекают одно в другое. Что-то может быть упущено в описании, потому что, согласно уже принятому объяснительному подходу, это что-то не имеет особого или вообще никакого значения. Или же эмпирические дескриптивные данные, касающиеся, например, апатии граждан или дезинформированности избирателей, могут потребовать от теоретиков поиска принципа, позволяющего объяснить, почему система вообще работает. А принципы объяснения, как мы видели, очень легко становятся принципами обоснования. Поэтому полезно отделять дескриптивное измерение от обоснования, не надеясь при этом, что удастся рассмотреть объяснительное измерение совершенно отдельно от других.

Адекватность описания

В качестве описания действительной системы, в настоящее время доминирующей в западных либераль-

но-демократических странах, Модель 3 должна быть признана по существу верной. В этом отношении она действительно гораздо более реалистична, чем Модель 2. Она завоевала авторитет благодаря тщательным и подробным эмпирическим исследованиям, проведенным высококомпетентными учеными. Нет оснований сомневаться в их результатах, которые столь резко расходятся с Моделью 2. Они могли оставить что-то вне поля зрения, как, например, способность элит решать, какие вопросы выносить на суд избирателей, а какие нет¹⁰, но такого рода упущения в большей степени касаются адекватности объяснения и обоснования, чем адекватности описания.

Полученные результаты требуют некоторой корректировки для того, чтобы соответствовать ситуации в Западной Европе, так как они опираются по преимуществу на изучение положения в Соединенных Штатах: например, нынешнее влияние коммунистических партий во Франции и Италии предполагает, что в этих странах партийные разделения в большей степени соответствуют классовым разделениям, чем это допускает американская плюралистическая модель. Однако утрясти эти несоответствия, скорее всего, не составит большого труда. Принципиальная верность Модели 3 как описания связана с верностью свойственного ей понимания современного западного человека и западного общества: пока у нас будет рыночный человек и рыночное общество, можно ожидать, что они будут действовать так, как описывается в Модели 3.

Адекватность объяснения

Принципы объяснения того, почему система работает или работает настолько хорошо, насколько она

¹⁰ Об этом см.: *Bachrach P., Baratz M.S. Two Faces of Power / American Political Science Review. 1962. Vol. LVI. No. 4. December.*

работает, вырастают из дескриптивных данных (и врастают в последние). Но кроме того, они настолько сливаются с обоснованием системы, что будет логично соединить рассмотрение адекватности объяснения и адекватности обоснования. Действительно, недавняя критика Модели 3 по большей части имеет в качестве отправной точки неудовлетворенность ее обоснованием и лишь затем переходит к вопросу об адекватности ее объяснения и даже предлагаемого ею описания. Я не стану суммировать те критические замечания в адрес Модели 3, которые были сделаны в последние десять лет или около того политическими учеными, придерживающимися, так сказать, радикальных либерально-демократических убеждений¹¹, но просто сошлюсь на их работы как на свидетельство растущей неудовлетворенности этой моделью в политологическом сообществе. Затем я обращусь к выяснению — в свете уже проведенного анализа неудач Моделей 1 и 2 — того, почему Модель 3 стала выглядеть столь неудовлетворительной.

Адекватность обоснования

Наверное, уместно начать с рассмотрения утверждения сторонников Модели 3 (оно обычно озвучивается или просто предполагается) о том, что их модель вообще ничего не обосновывает, но лишь описывает и объясняет. С этим утверждением никак нельзя согласиться, хотя относительно Шумпетера, который вряд ли беспокоился по этому поводу, это справедливо. Од-

¹¹ См., напр.: *Bachrach P. The Theory of Democratic Elitism: A Critique.* Boston; Toronto, 1967; *Apolitical Politics: A Critique of Behavioralism* / McCoy, Playford (eds). N.Y., 1967; *The Bias of Pluralism* / W. Connolly (ed.). N.Y., 1969; *Frontiers of Democratic Theory* / H. Kariel (ed.). N.Y., 1970. *Pateman C. Participation and Democratic Theory.* Cambridge, 1970.

нако все позднейшие и более солидные сторонники Модели 3 предполагают и даже предлагают некое обоснование на одном или двух уровнях. Как минимум они говорят, что рассматриваемая система со всеми ее несовершенствами является единственной, которая может работать, или такой, которая может работать лучше всего. Они — реалисты. Люди — таковы, и поэтому это лучшее, на что они способны. Обычно утверждается еще больше — что система создает оптимальное равновесие и обеспечивает некоторый уровень потребительского суверенитета граждан. Это считается очевидно хорошим, а поэтому система, которая дает такой результат, считается оправданной самим фактом обеспечения такого результата. Таким образом, оба утверждения реалистов являются, по крайней мере имплицитно, обосновывающими. Насколько они адекватны реальности?

Первое утверждение состоит в том, что Модель 3 — самая лучшая, поскольку что-либо более возвышенное работать не будет. Защитники Модели 3 сравнивают ее с тем, что они обычно называют «классической» моделью демократии и что, как правило, является неразличимым смещением доиндустриальной модели (Руссо и Джефферсона) и нашими Моделями 1 и 2. Мы далеко ушли бы в сторону, если бы попытались разобраться с этой путаницей¹², тем более что разные сторонники Модели 3 весьма по-разному представляют своих воображаемых противников из числа «классиков». Шумпетер, например, избирает в качестве главной цели сверхрационалистические представления, которые находит у Руссо и в Модели 1 Бентама: он считает, что средний человек не способен к рациональным сужде-

¹² На степень этой путаницы точно указала Кэрол Пейтман: «представление о “классической теории демократии” является мифом» (*Pateman C. Participation and Democratic Theory. P. 17*).

ниям, которые, по его мнению, должны иметь место в соответствии с этими моделями; поэтому эти модели безнадежны¹³. Другие были больше озабочены опровержением моральных притязаний Модели 2, разделяя при этом взгляд Модели 1 на человека как существо по своей природе рациональное и максимально расчетливое: именно *потому*, что люди таковы, большинство из них, скорее всего, не будут тратить много времени или энергии на политическое участие, что лишает оснований Модель 2¹⁴.

Оба этих взгляда, согласно которым Модель 3 является более реалистичной, более работоспособной и потому «лучшей», чем любая предыдущая модель, в конечном счете опираются на непроверенное убеждение в том, что политические способности среднего человека в современном рыночном обществе — это некая устойчивая данность или, по крайней мере, что они вряд ли будут меняться в наше время.

¹³ Подобную, хотя и менее нелепую позицию занимает Берельсон (*Berelson B.R. et al. Voting. P. 322*).

¹⁴ Ср. аргумент Роберта Даля (*Dahl R.A. After the Revolution? Authority in a Good Society. New Haven; L., 1970. P. 40–56*), что «разумный человек будет» приспособливаться и «в реальной практике каждый» человек действительно применяет к любой системе власти «критерий экономии», т.е. соразмеряет издержки политического участия с ожидаемой выгодой, где издержки определяются предшествующими затратами времени и энергии. Представление об участии исключительно как о «цене» (это так, если каждый человек понимается как просто безудержный потребитель) не принимает во внимание возможную ценность участия, поскольку оно обеспечивает рост понимания участником своей собственной позиции и сообщает ему большее понимание цели и большее чувство общности. Ср.: *Bachrach P. Interest, Participation and Democratic Theory // Participation in Politics (Nomos XVI) / J.R. Pennock, J.W. Chapman (eds). N.Y., 1973. P. 49–52.*

Против обоснованности этого убеждения можно возразить, что оно находится в зависимости от той модели человека, которая стала доминирующей только с возникновением и утверждением рыночного общества¹⁵. Но даже если признать, что эта модель человека столь тесно связана со временем и культурой, мы не знаем, не будет ли она вытеснена другой, и если будет, то когда это произойдет. Поэтому хотя это убеждение не может быть верифицировано, оно не может быть и абсолютно фальсифицировано. Отсюда следует, что обоснованность первого утверждения остается неопределенной: в данном случае мы можем лишь вернуться к шотландскому вердикту: «Not Proven» — не доказано.

Что же сказать о втором утверждении — что, по аналогии с рынком экономической системы, соревновательная элитистская партийная система обеспечивает оптимальное равновесие спроса и предложения политических благ, а также некую меру потребительского суверенитета граждан? На первый взгляд, оптимальное равновесие и потребительский суверенитет граждан — вещи сами по себе хорошие. Для большинства людей, живущих в передовых и относительно стабильных обществах, «равновесие» звучит лучше, чем «неравновесие», и «оптимальный» относится к тому, что по определению лучше всего. Что же может быть лучше «оптимального равновесия»? Также и выражение «потребительский суверенитет граждан» составлено из очень хороших слов. А потому, если Модель 3 все это обеспечивает, тогда, конечно, можно сделать вывод, что она представляет собой вполне удачный тип демократии. Однако это неверный вывод. Верный же состоит в том, что это вполне удачный тип рынка. Но рынок совсем не обязательно демократичен.

¹⁵ Ср.: Поланьи К. Великая трансформация. СПб.: Алетейя, 2002, а также: Macpherson C.B. Democratic Theory (Essay I).

Я собираюсь теперь показать, что политическая рыночная система Модели 3 совсем не демократична, как это представляется: что равновесие, которое она обеспечивает, это равновесие в неравенстве; что потребительский суверенитет, который она якобы порождает, по большей части является иллюзией; и что в той мере, в какой потребительский суверенитет действительно существует, он вступает в противоречие с центральным демократическим принципом равных индивидуальных прав человека на использование и реализацию своих способностей. Претензии на обеспечение оптимального равновесия и потребительского суверенитета — это, по существу, одна претензия, две стороны одной медали, и поэтому их можно рассматривать вместе.

Эта претензия не соответствует реальности по двум пунктам. Во-первых, поскольку политическая рыночная система, по аналогии с экономическим рынком, является достаточно конкурентной, чтобы обеспечивать оптимальное предложение и распределение политических благ (оптимальное по отношению к спросу), то на самом деле она фиксирует то и отвечает на то, что экономисты называют *эффективным* спросом, т.е. на спрос, имеющий покупательную силу, обеспеченный реальными средствами. На экономическом рынке это означает просто деньги, неважно, каким образом добытые: посредством приложения сил их обладателя или каким-либо иным способом. На политическом рынке покупательная сила — это в значительной степени, хотя и не полностью, деньги — деньги, необходимые для поддержки партии или кандидата в ходе избирательной кампании, для создания группы давления или для покупки места и времени в СМИ (или покупки некоторых СМИ). Но политическая покупательная сила включает также и прямые затраты энергии на ведение избирательной кампании, организационные

усилия и другие формы участия в политическом процессе.

Поскольку политическая покупательная сила — это деньги, мы вряд ли можем говорить о том, что процесс уравнивания является демократическим в любом из обществ, подобных нашему, в котором имеет место существенное неравенство с точки зрения обладания богатством и шансов на его приобретение. Мы, конечно, можем называть это потребителем суверенитетом, если нам так хочется. Однако суверенитет всей совокупности таких неравных потребителей никоим образом не является демократическим.

В случае, когда политическая покупательная сила — это прямые затраты энергии, дело обстоит, кажется, лучше. Что может быть честнее, чем отдача, пропорциональная вложению политической энергии? Апатичным гражданам не следует ожидать такой же отдачи, как у более активных. Это было бы честным принципом, совместимым с демократическим равенством, если бы апатия была независимой величиной, т.е. если бы апатия была в каждом случае следствием принимаемого индивидом решения относительно более выгодного использования своего времени и своей энергии и выбирающего между политическим участием и чем-то другим, а также если бы каждый индивид мог ожидать, что каждый час, отданный им политике, будет иметь такую же стоимость, такую же покупательную силу на политическом рынке, как и затраченный любым другим индивидом. Но как раз это и невозможно. Те, кому в силу своего образования и своих занятий труднее, чем другим, находить, усваивать и взвешивать информацию, необходимую для эффективного участия, оказываются, конечно, в проигрыше: час их времени, отданный политическому участию, не будет иметь такого же эффекта, как час, отданный этими другими. Они знают об этом, и отсюда их апа-

тичность. Таким образом, социальное неравенство порождает политическую апатию. Апатия не есть какая-то независимая величина.

Кроме того, политическая система Модели 3 непосредственно ведет к апатии. Как мы уже отмечали в предыдущей главе, функция, которую выполняет партийная система в обществе неравных, с массовыми выборами, предполагает размывание проблем и снижение ответственности правительств перед избирателями, что снижает мотивацию последних к самореализации посредством произведения выбора. Нередко причиной отказа от участия в голосовании является именно ощущение того, что реального выбора просто нет.

Сторонники Модели 3 придают большое значение феномену апатии избирателей, хотя обычно не доходят до тех причин, о которых я говорил. Однако они нередко указывают на то, что успешное функционирование Модели 3 именно *требует* чего-то, вроде нынешнего уровня апатии: большее участие стало бы угрозой для устойчивости системы¹⁶. Верность этого общего утверждения никогда не была подтверждена, но показателен сам факт, что такое утверждается: реализм Модели 3 таков, что некое благо надо видеть даже в столь малообещающем явлении, как массовая апатия. Мы же предпочитаем думать, что политическая система, требующая и поощряющая апатию, не внушает никакого оптимизма, особенно если иметь в виду, что уровень апатии зависит от классовых различий¹⁷.

¹⁶ См., напр.: *Berelson et al. Voting*. Ch. 14; *Morris-Jones W.H. In Defence of Apathy / Political Studies*. 1954. Vol. II. P. 25–37; *Lipset S.M. Political Man*. N.Y., 1960. P. 14–16; *Milbrath L. W. Political Participation*. Chicago, 1965. Ch. 6.

¹⁷ То, что политическое участие связано с классовыми различиями, — это единодушное мнение исследователей выборов.

Таким образом, если подвести итог по первому пункту, то получается, что поскольку политическая рыночная система является достаточно конкурентной, чтобы обеспечивать равновесие предложения и спроса политических благ — т.е. поскольку она действительно реагирует на спрос со стороны потребителей, — она реагирует на такой спрос, эффективность которого неравномерна. Одни запросы более эффективны, чем другие, потому что, когда запрос выражается в затратах человеческой энергии, единица вложений одного человека не может обеспечить такую же отдачу, как единица вложений другого. И класс политических требований, которые больше обеспечены деньгами, — это, как правило, тот же класс, к которому относятся затраты человеческой энергии, получающие бóльшую отдачу. В обоих случаях это спрос со стороны высших социоэкономических классов, являющийся наиболее эффективным. А потому низшие классы апатичны. Короче говоря, равновесие и потребительский суверенитет, насколько Модель 3 их обеспечивает, далеко не демократичны¹⁸.

Второй пункт, по которому не оправдывается приязание на то, что Модель 3 обеспечивает демократический потребительский суверенитет, состоит в том, что эта модель просто не обеспечивает его в должной мере. Политический рынок Модели 3 далек от того, чтобы быть вполне конкурентным. Ибо он является,

ного процесса. Более подробно об этом и о других аспектах апатии см.: Verba S., Nie N.H. *Participation in America, Political Democracy and Social Equality*. N.Y., 1972.

¹⁸ Даль, который исследовал следствия Модели 3 более полно, чем большинство ее сторонников, особенно в своей работе 1970 г. «После революции», откровенно говорит об искажающем влиянии классового неравенства и считает снижение его уровня необходимым условием подлинной демократии.

говоря языком экономистов, олигополистическим. Таким образом, существуют только несколько продавцов, несколько поставщиков политических благ, другими словами — только несколько политических партий: наиболее приветствуемый вариант Модели 3 предполагает существование только двух эффективных партий, допуская возможность еще одной или двух. Когда так мало продавцов, им не нужно реагировать и они не реагируют на запросы покупателей так, как они должны были бы реагировать во вполне конкурентной системе. Они могут определять цены и ассортимент товаров, которые будут предлагать. Более того, они могут в значительной степени создавать спрос. На олигополистическом рынке спрос не является автономным, не является независимой величиной.

На этот эффект олигополии, являющийся общим местом в экономической теории, удивительно мало внимания обращали политические теоретики, защищавшие Модель 3. Даже Шумпетер, который из всех разработчиков Модели 3 больше всего ориентировался на экономические параллели и доказывал, что олигополия и несовершенная конкуренция требуют существенной ревизии классической и неоклассической экономической теории равновесия, не видел ее значения для своей политической модели. Он обращает внимание на параллель между экономической и политической несовершенной конкуренцией¹⁹, но он имел в виду несовершенную конкуренцию разных уровней, а не ту в высшей степени несовершенную форму, которую представляет собой олигополия. Вместо того, чтобы разбираться с ключевым фактом партийной олигополии, он описывает деятельность «партий и по-

¹⁹ Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия. С. 239.

литиков» как попытку «регулировать политическую конкуренцию точно так же, как это делают профессиональные ассоциации»²⁰.

Почему способность олигополистических партий создавать спрос на политические блага оказалась вне поля внимания? Думаю, потому, что теоретики заранее полагали, что независимо от степени партийной конкуренции запросы избирателей не являются и не могут являться независимым и решающим фактором политической системы²¹. Это следует из их первичного постулата, что демократическая политическая система, по существу, есть конкуренция элит. Именно элиты, будучи движущей силой, формулируют вопросы повестки дня. Отсюда слова Шумпетера: «При анализе политических процессов мы в большей степени сталкиваемся не с подлинной, а со сфабрикованной волей», производимой такими способами, которые «в точности совпадают со способами воздействия коммерческой рекламы»²²; «не народ в действительности поднимает и решает вопросы, эти вопросы, определяющие его участь, поднимаются и решаются за него»²³; желания избирателей «не единственный фактор», «их выбор... не вытекает из их инициативы, но формируется, и его формирование — важнейшая часть демократического процесса»²⁴.

Таким образом, Модель 3 утверждает, что, независимо от степени олигополии в конкуренции партий и просто в силу того факта, что инициатива всегда принадлежит элитам, основополагающей, ни к чему не сводимой единицей демократического процесса

²⁰ Там же. С. 249.

²¹ Там же. С. 225; см. три следующие сноски.

²² Там же. С. 248.

²³ Там же. С. 249.

²⁴ Там же. С. 267.

является не индивид с независимым, автономным набором требований, или, как сказали бы экономисты, с автономным графиком спроса. Вместо этого Модель 3 утверждает, что график спроса на политические блага сам по себе в значительной степени определяется поставщиками. Это довольно точное утверждение. Однако странным образом этот факт не становится причиной опровержения претензий Модели 3 на демократичность, но лишь их усиливает. Аргументируется это следующим образом: поскольку индивидуальные графики спроса не являются независимыми основополагающими факторами системы, нельзя надеяться, что демократический процесс будет отвечать демократическим ожиданиям или идеалу Моделей 1 и 2, нельзя надеяться, что он будет выполнять функции, приписываемые ему Моделями 1 и 2 или какой-либо иной из «классических» моделей, предполагающих автономных индивидов; поэтому Модель 3 лучше, чем Модели 1 и 2.

Это понимание создателями Модели 3 действительных отношений, доминирующих в нашем обществе, усиливает притязания Модели 3 на реалистичность, т.е. реалистичность по отношению к обществу, которое, как считается, неспособно идти дальше олигополистического экономического рынка, классового неравенства и представлений людей о самих себе как о потребителях. Но это создает некоторые проблемы с притязанием Модели 3 на демократичность. Поскольку Модель 3 допускает и даже требует, чтобы элиты как поставщики политических благ в значительной степени создавали спрос (как они это делают и должны делать на олигополистическом рынке), лишаются своих оснований аргументы, касающиеся оптимального равновесия и потребительского суверенитета. Все, что остается от обоснования Модели 3, — это ее функция защиты от тирании.

Конечно, никакой либерал, никакой выраженный индивидуалист не будет преуменьшать значение защиты от тирании. Если Модель 3 является единственной альтернативой диктатуре несменяемых правителей, то оправдание этой модели, со всем ей свойственным — неравенством, олигополией и апатией, — все еще будет звучать убедительно. Но никто еще не доказал, что Модель 3 в данном случае может быть единственной альтернативой; и сделать это очень непросто. Нам же надо сделать другое: рассмотреть возможность недиктаторской системы, свободной от всех недостатков Модели 3.

3. НЕУСТОЙЧИВОСТЬ МОДЕЛИ 3

Модель 3 останется наиболее точной дескриптивной моделью и будет восприниматься как адекватная оправдывающая модель, до тех пор пока мы в западных обществах будем предпочитать богатство общности (и верить, что рыночное общество может бесконечно обеспечивать это богатство) и пока мы будем продолжать придерживаться свойственной ситуации холодной войны взгляда, что единственная альтернатива Модели 3 — это абсолютно нелиберальное тоталитарное государство. Выражая это несколько иначе, можно сказать, что система конкурирующих элит с низким уровнем участия граждан просто *необходима* в обществе, характеризующемся неравенством, большинство членов которого воспринимают себя как потребителей, стремящихся к максимальному удовлетворению своих запросов.

Эта необходимость приобрела новую актуальность после катастрофической экономической депрессии начала 1930-х годов во всех западных странах. Потребность в том, чтобы государство, следуя кейнсианским идеям, вмешивалось в экономику ради поддержания

капиталистического порядка, означала возрастающую потребность в разведении политических решений и демократической реактивности: только эксперты, мысли и рассуждения которых находятся за пределами способностей понимания избирателей, могут спасти систему. Советы экспертов были учтены, и это действительно спасло систему в следующие три или четыре десятилетия. Поэтому понятно, что Модель 3 с самого начала, т.е. с 1940-х годов, была ориентирована против демократического участия. Однако когда в 1960-е и 1970-е годы стало расти разочарование результатами такого государственного регулирования капитализма, адекватность Модели 3 становилась все более сомнительной.

Тот факт, что возникает все больше сомнений в адекватности этой системы, не может, к сожалению, быть понят как свидетельство того, что мы настолько далеко ушли от неравенства и от осознания себя потребителями, чтобы появилась возможность новой политической модели. Самое большее, что мы можем сделать, — это рассмотреть проблемы, связанные с переходом к новой модели, и наметить возможные решения.

V. Модель 4: демократия участия

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИДЕИ

Назвать демократию участия моделью, тем более моделью либеральной демократии, значило бы уступить страсти к симметрии. Демократия участия, конечно, не является столь же солидной или специфической моделью, как те, что мы рассматривали ранее. Она началась как лозунг студенческого движения новых левых в 1960-х годах. Эта идея распространилась в среде трудящегося класса в 1960-х и 1970-х, без сомнения, как побочное следствие растущей неудовлетворенности работой в среде как рабочих, так и служащих, а также более широко распространенного чувства отчуждения, которое стало столь модным предметом исследования у социологов, специалистов по управлению, государственных комиссий и журналистов широкого профиля. Одним из проявлений этого нового духа стало движение за контроль над промышленностью со стороны рабочих. В те же десятилетия идея, что должно быть существенное гражданское участие в принятии решений *правительством*, столь широко распространилась, что национальные правительства стали, по крайней мере на словах, становиться на сторону участия, а некоторые даже инициировали программы широкого гражданского участия¹. Казалось, что надежда

¹ Например, «программы общественного действия», инициированные федеральным правительством США в 1964 г., которые предполагали «максимально возможное участие жителей областей и членов групп». Критическое рассмотрение

на общество большего участия и на соответствующую систему управления имеет все основания.

Нам нет необходимости пытаться обозреть громадный объем недавней литературы, посвященной участию в разных областях общественной жизни. Здесь нас интересуют только перспективы большего участия в системе управления западных либеральных демократий. Может ли либерально-демократическое правительство предполагать большее участие и если да, то каким образом оно будет осуществляться? Этому вопросу еще не уделено того внимания, которого он заслуживает. Спор в среде политических теоретиков вначале в основном шел вокруг главного вопроса: желательна ли большее гражданское участие?² Как мы видели, сторонники Модели 3 говорили «нежелательно». Этот спор еще не закончился³.

Однако, учитывая наши цели, этот спор можно закрыть. Достаточно сказать следующее. Если иметь в виду неоспоримое классовое различие в политическом участии при нынешней системе, а также признавать, что это различие является одновременно следствием и продолжающей действовать причиной неспособности представителей нижних страт ни артикулировать свои

Окончание см. 1

этого см.: Kalodner H.I. Citizen Participation in Emerging Social Institutions / Participation in Politics (см. сноску 3 ниже).

² Этот вопрос больше всего волновал радикальных либеральных критиков Модели 3 (см. главу 4, сноску 11, а также сноску 3 в настоящей главе).

³ См.: Participation in Politics (Nomos XVI) / J.R. Pennock, J.W. Chapman (eds). N.Y., 1975. Большинство авторов этого сборника, который основан на докладах, прочитанных в 1971 г. на ежегодном собрании Американского общества политической философии и философии права (American Society for Political and Legal Philosophy), выступают за большее участие, но обозначена и противоположная позиция, которую энергично отстаивает Малкольм Смит.

желания, ни сделать свой спрос эффективным, тогда ничто столь далекое от участия, как апатичное равновесие Модели 3, не может соответствовать этическим требованиям демократии. Это не значит, что система с большим участием сама по себе ликвидирует все проявления неравенства в нашем обществе. Это значит лишь, что низкий уровень участия и социальное неравенство столь тесно связаны друг с другом, что более справедливое и человечное общество требует политической системы, предполагающей большее участие.

Рассмотрением трудного вопроса, является ли изменение политической системы условием изменения общества, или наоборот, мы займемся в следующем разделе этой главы. Пока я лишь буду исходить из того, что желательно нечто с большей степенью участия, чем наша нынешняя система. Остается вопрос, возможно ли это.

2. ВОЗМОЖНО ЛИ НЫНЕ БОЛЬШЕЕ УЧАСТИЕ?

Проблема масштаба

Бесполезно просто восхвалять демократическое качество жизни и процесса принятия решений (т.е. управления), которое может иметь место в современных коммунах, или в городских собраниях в Новой Англии, или же имело место в античных городах-государствах. Можно многое узнать о качестве демократии, изучая эти общества, в которых происходила встреча лицом к лицу. Однако это ничего не скажет нам о том, как может функционировать демократия участия в современном государстве с населением в два миллиона или в двести миллионов. Представляется очевидным, что на национальном уровне должна существовать некая система представительства, а не совершенно прямая демократия.

Идея, что уже имеющиеся и будущие достижения в области компьютерных технологий и телекоммуникаций позволят установить прямую демократию на уровне миллионов участников, привлекательна не только для технологов, но и для социальных теоретиков и политических философов⁴. Но в данном случае упускается из поля зрения неотменяемое требование, касающееся процесса принятия решений: кто-то должен формулировать вопросы.

Несомненно, что-то можно сделать с помощью двусторонней телесвязи, чтобы вовлечь больше людей в более активную политическую дискуссию. И без сомнения, технически возможно поставить в каждую гостиную — или, для вовлечения всего населения, около каждой кровати — компьютерный пульт с кнопками да/нет, или согласен/не согласен/не знаю, или одобряю/отчасти одобряю/безразличен/не совсем одобряю/не одобряю, или кнопками для множественного выбора. Однако представляется неизбежным, что некие государственные органы будут решать, какие вопросы задавать: это дело вряд ли будет отдано частным структурам.

Можно, конечно, предложить, чтобы какое-то определенное число граждан обладали правом формулировать вопросы, которые затем должны быть электронным способом поставлены перед всеми избирателями. Но даже если иметь в виду такое предложение, все-таки большинство вопросов, на которые нужно получить ответ в наших нынешних сложных обществах, вряд ли могут формулироваться группами граждан, особенно так, чтобы полученные ответы становились ясными указаниями для правительства. И от обычного гражданина нельзя ждать, что он будет давать ответы

⁴ См.: *Rossman R. On Learning and Social Change. N.Y., 1972. P. 257–258; Wolff R.P. In Defense of Anarchism. N.Y., 1970. P. 34–37.*

на такие вопросы, которые связаны с прямыми директивами. Вопросы будут слишком замысловатыми, как например: «какой процентный уровень безработицы вы допускаете для того, чтобы снизить инфляцию на x процентов?»; или «какое увеличение уровня (а) подоходного налога, (б) налога с продаж и акцизов, (в) иных налогов (уточните) вы допускаете, чтобы повысить на __ процентов (укажите число) уровень (1) пенсий по старости, (2) медицинских служб, (3) других социальных служб (уточните каких), (4) других пособий (уточните каких)?» Таким образом, даже если и будут предложения такого рода схем народной инициативы, все равно правительство вынуждено будет решать множество реальных вопросов.

Более того, если где-то в системе не будет предусмотрена структура с целью примирения несовместимых требований, выраженных посредством нажимания кнопок, система скоро выйдет из строя. Если такая система будет функционировать в ситуации, подобной нашему нынешнему обществу, почти обязательно появятся несовместимые требования. Люди — одни и те же люди — скорее всего будут, например, требовать снижения уровня безработицы и в то же время снижения инфляции, или повышения правительственных расходов одновременно со снижением налогов. И конечно, разные люди — люди с противоположными интересами, например, ныне привилегированные и не привилегированные — будут также выдвигать несовместимые требования. Компьютер без труда справится с этими последними несовместимостями, выявив позицию большинства, но не сможет справиться с первыми. Чтобы избежать создания инстанции для согласования таких несовместимых требований, вопросы нужно будет формулировать так, что ответы потребуют от каждого отвечающего способностей, обладания которыми невозможно ожидать.

Эта ситуация не изменится к лучшему и в будущем обществе, которое можно предвидеть. Верно, что вопросы такого типа, о которых говорилось выше, т.е. о распределении экономических затрат и экономических выгод между различными секторами населения, возможно, станут менее острыми по мере того, как материальное благосостояние будет расти. Но даже если эти вопросы перестанут быть актуальными как внутренние проблемы в большинстве экономически развитых обществ, они, скорее всего, снова окажутся в повестке дня как проблемы внешние: например, какую по размеру и по характеру помощь развитые страны должны оказывать развивающимся? Кроме того, возникнут и новые внутренние вопросы, касающиеся не распределения, а производства в самом широком смысле, т.е. использования всей совокупности энергии и ресурсов, которыми располагает общество, а также поощрения или сдерживания дальнейшего экономического роста и роста народонаселения. И вместе с тем возникнет вопрос о том, в какой степени общество должно оказывать воздействие на культурные и образовательные устремления людей или, наоборот, воздерживаться от этого.

Такого рода вопросы, даже в наиболее благоприятных обстоятельствах, будут требовать постоянного переформулирования. И их невозможно отдать на откуп народной инициативе. Формулировка таких вопросов все равно будет поручена какой-то правительственной структуре.

И все же можно утверждать, что даже если невозможно отдать народной инициативе формулирование всех вопросов конкретной политики, весьма широкий круг таких вопросов может быть ей делегирован. Учитывая, что многие сотни политических решений, которые ныне ежегодно принимают правительства и законодатели, так и будут приниматься ими, можно на-

стаивать на том, чтобы эти решения согласовывались с результатами референдумов по самым общим вопросам. Однако трудно представить, как формулирование большинства общих вопросов можно отдать на откуп народной инициативе. Эта инстанция, бесспорно, может обеспечить формулировку ясных вопросов по отдельным проблемам, как например: смертная казнь, легализация марихуаны или право на аборт, — т.е. по таким проблемам, когда возможны только два ответа: «да» и «нет». Но по указанным выше причинам эта инстанция не может обеспечить формулирование адекватных вопросов по масштабным и взаимосвязанным проблемам, касающимся социальной и экономической политики в целом. Это остается делом определенного органа исполнительной власти. И если такой орган не будет выборным или ответственным перед выборным органом и, таким образом, в некотором отношении ответственным перед избирателями, подобная система постоянных референдумов не будет на самом деле демократической: хуже того, представляясь демократической, она будет лишь скрывать истинный топос власти и тем самым позволит «демократическим» правительствам быть более авторитарными, чем они являются сейчас. Мы не можем обойтись без избранных политиков. Мы должны полагаться, хотя и не исключительно, на непрямую демократию. Проблема же в том, чтобы заставить избранных политиков быть ответственными. Электронный пульт у каждой кровати не может этого обеспечить. Иначе говоря, электронные технологии не могут обеспечить нам прямой демократии.

Поэтому проблема демократии участия на массовом уровне представляется трудноразрешимой. Она действительно трудноразрешима, если мы просто пытаемся начертить механический проект предлагаемой политической системы, не обращая внимания на

изменения в обществе и в самопонимании людей, которые, стоит только задуматься, должны предшествовать или сопутствовать реализации чего-то подобного демократии участия. И я считаю, что главная проблема заключается не в том, как должна функционировать демократия участия, а в том, как мы можем двигаться к ее осуществлению.

Порочный круг и возможные лазейки

Я начну с общей посылки: главная проблема демократии участия не в том, как ее реализовать, а в том, как ее достичь. Ибо, как мне представляется, если мы сможет достичь ее или добиться осуществления каких-то ее существенных элементов, наш путь к этому сделает нас способными ее реализовывать или, во всяком случае, менее неспособными это делать.

Сформулировав свою посылку, я должен сразу ее уточнить. Неудачи на пути достижения подлинной демократии участия в странах, где это было осознанной целью, например, в Чехословакии до 1968 г. или во многих странах «третьего мира», требуют оговорок при выдвигании такой посылки. Ибо в обоих этих случаях значительная часть пути уже была пройдена: я имею в виду путь от капиталистического классового разделения и буржуазной идеологии в сторону в одном случае марксистского гуманизма, а в другом — руссоистского понятия общества, воплощающего общую волю; и в обоих случаях — в сторону более сильного чувства общности по сравнению с тем, что мы имеем. И конечно, сам этот путь вел в противоположную сторону от зеркального образа олигополистической капиталистической рыночной системы: я имею в виду господствующую у нас олигополистическую конкуренцию политических партий, которая не только не обнаруживает участия, но и положительно оцени-

вается большинством либерально-демократических теоретиков именно за то, что она принципиально не предполагает участия.

Так что на пути достижения демократии участия все еще остаются трудности даже в том случае, когда значительная часть пути уже пройдена, т.е. когда некоторые очевидно требуемые изменения в обществе и идеологии уже произошли. Однако путь, уже пройденный в упомянутых мною странах, существенно отличался от того пути, который предстоит пройти нам, чтобы приблизиться к демократии участия. Ибо, на мой взгляд, путь, которым нам предстоит идти в западных либеральных демократиях, не связан с коммунистической революцией; и понятно, что он не связан с национально-освободительными революциями, «нагруженными» всеми проблемами недостаточного развития и низкой производительности, с которыми сталкиваются страны «третьего мира».

Поэтому представляется важным исследовать, каков в данном случае возможный путь для западных либеральных демократий и может ли (и в какой степени) движение по этому пути сделать нас способными обеспечивать функционирование такой системы, которая будет предполагать большее участие, чем в настоящее время. Отсюда вопрос: какие препятствия на этом пути нужно устранить, т.е. какие изменения в нашем нынешнем обществе и в ныне доминирующей идеологии являются необходимыми условиями (или дополнительными условиями) достижения демократии участия?

Если мой предыдущий анализ вообще справедлив, нынешняя политическая система, не предполагающая участия или вряд ли его предполагающая, выражением которой является Модель 3, соответствует характеризующемуся неравенством обществу конфликтующих потребителей и приобретателей: действительно,

только такая система с ее конкурирующими политическими элитами и апатичными избирателями и может быть связующим элементом такого общества. Если это так, тогда довольно просто обозначить два необходимых условия возникновения Модели 4.

Одно — это изменение в сознании (или подсознании) людей: переход от того, чтобы рассматривать себя и действовать в качестве прежде всего потребителей, к тому, чтобы понимать себя как тех, кто реализует и развивает свои способности, действовать в соответствии с таким пониманием и испытывать от этого положительные переживания. Это условие не только возникновения, но и функционирования демократии участия. Ибо второе самопонимание одновременно порождает чувство общности, которое первое не пробуждает. Человек может приобретать и потреблять сам по себе, для своего собственного удовлетворения или для того, чтобы показать свое превосходство над другими: это не требует и не пробуждает чувства общности, — тогда как проявлять и развивать свои способности приходится по большей части в связке с другими, в некотором соотношении с сообществом. И без всякого сомнения, функционирование демократии участия потребует более сильного чувства общности, чем мы имеем сегодня.

Второе условие — значительное снижение уровня нынешнего социального и экономического неравенства, поскольку это неравенство, как я доказывал, требует не предполагающей участия партийной системы, связующей общество. И пока с неравенством мирятся, такая политическая система скорее всего будет приниматься теми представителями разных классов, которые предпочитают стабильность возможному общественному распаду.

В то же время, если эти две перемены в обществе — замещение образа человека как потребителя

и значительное снижение уровня социального и экономического неравенства — являются необходимыми условиями демократии участия, мы, судя по всему, попадаем в порочный круг. Потому что сомнительно, что какое-либо из этих условий станет реальностью без гораздо большего демократического участия в сравнении с тем, что имеет место ныне. Снижение уровня социального и экономического неравенства вряд ли возможно без мощного демократического действия. И за кем бы мы ни пошли — за Миллем или Марксом, представляется, что только посредством действительной вовлеченности в совместное политическое действие люди могут преодолеть склонность воспринимать себя в качестве потребителей и приобретателей. Отсюда и порочный круг: мы не можем достичь более демократического участия без предварительного изменения уровня социального неравенства и изменения в сознании, но мы не можем достичь измерения уровня социального неравенства и изменения в сознании, пока не повысим уровень демократического участия.

Есть ли выход из этой ситуации? Думаю, что есть, хотя в наших капиталистических обществах изобилия вряд ли нужно ориентироваться на способы, которые предлагали и на реализацию которых надеялись Маркс или Милль. Маркс ожидал, что развитие капитализма приведет к обострению классового сознания, что будет стимулом для разного рода политических действий рабочего класса, что в свою очередь будет усиливать классовое сознание рабочего класса и трансформирует его в революционное сознание, способствуя возникновению революционной организации. Далее последует революционный захват власти рабочим классом, власть которого укрепитя в период «диктатуры пролетариата», когда будет уничтожено социальное и экономическое неравенство, а представление о человеке как максимальном потребителе

сменится образом человека, реализующего и развивающего свои человеческие способности. Что бы мы ни думали о вероятности такого развития событий, в качестве начальной точки оно требует усиления классового сознания, но свидетельств этого очень мало в нынешних процветающих западных обществах, где оно в целом снизилось со времен Маркса⁵.

Выход, предлагаемый Джоном Стюартом Миллем, также представляется не слишком обнадеживающим. Он рассчитывал на две вещи. Во-первых, на то, что расширение избирательного права приведет к более широкому политическому участию, которое в свою очередь сделает людей способными к еще большему политическому участию и будет способствовать изменению в сознании. Во-вторых, на то, что отношения собственника и работника изменятся с распространением кооперативов производителей: в той мере, в какой они заменят обычные капиталистические отношения, произойдут изменения и в сознании, и в уровне неравенства. Однако расширение избирательных прав не привело к ожидаемому Миллем результату, и капиталистические отношения между собственником и работником также не претерпели требуемых изменений.

Поэтому пути, предполагавшиеся Марксом и Миллем, не выводят нас из порочного круга. Однако в их размышлениях есть один общий момент, который мы вполне можем принять как руководящий. Они оба считали, что изменения в двух факторах, которые абстрактно являются условиями друг друга — масштаб политического участия, с одной стороны, и неравенство и образ человека как бесконечного потребителя и приобретателя, с другой, — будут происходить

⁵ Существуют некоторые знаки возрождения классового сознания, но не того, что оно становится революционным сознанием.

постепенно и во взаимодействии, так что неполное изменение в одном будет приводить к некоторому изменению в другом, что в свою очередь будет способствовать дальнейшим изменениям в первом (и т.д.). Даже сценарий Маркса, действительно включающий момент революционного изменения, призывает к таким взаимным и постепенным переменам и до, и после революции. Мы также, глядя на наш порочный круг, вполне можем утверждать, что необязательно ждать полной перемены в одном, прежде чем начнутся перемены в другом.

Итак, мы можем искать лазейки в этом круге, т.е. изменения уже видимые или только ожидаемые, либо в масштабе демократического участия, либо в уровне социального неравенства, либо в потребительском сознании. Если мы найдем не только уже ощущаемые изменения, но и связанные с силами или обстоятельствами, которые, скорее всего, произведут необходимый кумулятивный эффект, тогда мы можем надеяться на прорыв. А если эти перемены таковы, что порождают параллельное изменение в других сферах, то это еще лучше.

Существуют ли какие-нибудь лазейки, соответствующие этим уточнениям? Начнем с утверждения, менее всего соответствующего нашим поискам, т.е. с представления, что большинство из нас волея-неролей являются калькуляторами своей собственной выгоды и всё анализируют с точки зрения затрат и отдачи, как бы ни были приблизительны такие расчеты; и что большинство из нас сознательно или бессознательно воспринимают себя как прежде всего бесконечных потребителей. Эти представления непосредственно порождают порочный круг: большинство людей будут поддерживать (или не будут стараться изменить) систему, которая дает изобилие, ведет к постоянному росту ВВП, но также способствует политической апа-

тии. Все это свидетельствует об очень прочном порочном круге. Но теперь в нем появляются и некоторые видимые лазейки. Остановлюсь на трех из них.

1. Все больше и больше людей, используя свою способность, которую мы им всем приписали, — быть калькуляторами затрат и отдачи, пересматривают соотношение этих показателей применительно к стремлению нашего общества постоянно повышать ВВП. Они все еще признают выгоды экономического роста, но вместе с тем они начинают обращать внимание на цену этого роста, которую раньше не учитывали. Прежде всего это касается загрязнения воздуха, воды и земли. Эта цена экономического роста в основном касается качества жизни. Не слишком ли много мы возьмем на себя, если предположим, что это представление о качестве является первым шагом в сторону от удовлетворенности количеством, а значит, и первым шагом от понимания себя как бесконечных потребителей и в сторону более высокой оценки своей способности реализовывать свои силы и способности в более здоровом окружении? Возможно, это было бы слишком сильным утверждением. Но в любом случае растущее осознание такого рода цены создает препятствия для бездумного принятия ВВП в качестве критерия социального блага.

Другие аспекты той цены, которую приходится платить за экономический рост, а именно расточительное истощение природных ресурсов и вероятность необратимого экологического ущерба, также привлекают все большее внимание. Осознание цены экономического роста выводит людей за пределы чисто потребительского сознания. Как следствие, можно ожидать осознания определенного публичного интереса, который не совпадает ни с частным интересом каждого потребителя, ни с интересами конкурирующих политических элит.

2. Имеет место рост осознания цены политической апатии и тесно связанное с этим усиливающееся осознание в среде промышленного рабочего класса неадекватности традиционных, привычных форм организации промышленности. Становится все более очевидным, что неучастие, или низкое участие, или участие только по устоявшимся каналам граждан и работников приводит к концентрации корпоративной власти, которая господствует над местностью, где мы живем, над нашей работой, безопасностью, качеством жизни на работе и дома. Можно привести два примера такого нового сознания.

A. Один из наиболее явных примеров, по крайней мере в североамериканских городах, которые до настоящего времени были известны отсутствием озабоченности человеческими ценностями, — это возникновение местных и общинных движений и ассоциаций, создаваемых для оказания давления с целью сохранения или повышения значения этих ценностей в противостоянии с тем, что можно назвать городским коммерческо-политическим комплексом. Эти движения выступали, с немалым эффектом, против скоростных автострад, против действий застройщиков, против упадка в бедных кварталах, за улучшение работы школ и детских садов в этих кварталах и т.п. Верно, что, как правило, они возникали (а некоторые остаются такими) в связи с необходимостью решить какую-то одну конкретную проблему. И они обычно стремились не заменить формальные муниципальные политические структуры, но лишь оказать на них давление⁶. Поэтому большинство из них сами по себе не

⁶ Иногда они действительно стремились модифицировать формальные структуры, как в случае требования общественного контроля над школами или полицией и большего общественного участия в городском планировании, надзоре за деятельностью спецслужб, о чем пишет Джон Лэдд

являли собой серьезное отклонение от системы конкурирующих элит. Но они привлекли к активному политическому участию многих людей, особенно из нижних социоэкономических страт, которые до этого по большей части проявляли политическую апатию.

Б. Менее заметны, но в долгосрочной перспективе, возможно, более важны движения за демократическое участие в принятии решений на рабочем месте. Эти движения пока не оказали решающего влияния на процессы, происходящие в капиталистических демократиях, однако некоторое давление рабочего контроля на уровне цеха и даже на уровне предприятия возрастает, и реально существующие примеры такого давления обнадеживают⁷. Следует обратить внимание на два важных момента этого феномена, независимо от того, идет ли речь о решениях, касающихся условий труда и организации работы на уровне цеха, или же об участии в процессе принятия решений на уровне всего предприятия.

Окончание см. 6

(Ladd J. The Ethics of Participation // Participation in Politics. P. 99, 102).

⁷ Серьезный анализ этого явления см.: Pateman C. Participation and Democratic Theory. Cambridge, 1970. Chs 3–4. Другие аналитики, пишущие в качестве политических активистов, рассматривающих рабочий контроль как желательный путь к полностью социалистическому обществу, считают нынешние достижения движений за рабочий контроль менее вдохновляющими. См., напр.: Worker's Control: A Reader on Labor and Social Change / G. Hunnius, G.D. Garson, J. Case (eds). N.Y., 1973; Worker's Control: A Book of Readings and Witnesses for Worker's Control / K. Coates, T. Topham (eds). L., 1970. Усилия по введению рабочего контроля, судя по всему, нарастают, поскольку они порождаются усиливающейся деградацией труда, которая, как представляется, присуща капиталистическому производству; ср.: Braverman H. Labour and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century. N.Y., 1974.

Во-первых, люди, вовлеченные в эти процессы, приобретают опыт участия в принятии решений в том секторе своей жизни — своей жизни на работе, — где их озабоченность происходящим выше или, по крайней мере, более непосредственно переживается, чем в любом другом секторе. Они самым непосредственным образом могут увидеть, насколько действенно их участие. Силы, которые способствуют апатичному отношению обычных людей к формальным политическим процессам на национальном уровне, здесь отсутствуют. Безразличие к разрешению очевидно далеких политических проблем; отстраненность от результатов своего участия, даже если они есть; неуверенность в действенности своего участия или неверие в возможность такой действенности; неверие в свою собственную способность к участию — ни один из этих факторов не относится к участию в принятии решений на рабочем месте. И охота к участию, порожденная самим опытом участия, вполне может выйти за пределы рабочего места и распространиться на более широкие политические сферы. Тех, кто убедились, что обладают компетентностью для одной формы участия и обрели уверенность в его результативности, труднее отвлечь от такого участия тем силам, которые стремятся держать их в состоянии политической апатии; эти люди в большей степени способны думать в ситуации, когда политическая дистанция, отделяющая их от результатов, больше, и осознавать важность решений, касающихся не их непосредственных озабоченностей, а более отдаленных вопросов.

Во-вторых, те, кто вовлечен в рабочий контроль, участвуют в нем *как производители*, а не как потребители или приобретатели. Они участвуют в нем не для того, чтобы добиться повышения заработной платы или более выгодного разделения продукции, но для того, чтобы сделать свой производительный труд бо-

лее осмысленным для себя. Если бы рабочий контроль был просто еще одной формой борьбы за большую оплату или еще одним усилием сохранить реальную заработную плату за счет увеличения денежных выплат и дополнительных льгот, в чем и заключается деятельность профсоюзов, тогда это не имело бы никакого отношения к изменению самопонимания людей через отказ от образа человека как потребителя и приобретателя, как не имеет к этому отношения и обычная профсоюзная деятельность. Но рабочий контроль касается не собственно распределения дохода: он касается условий производства, а потому можно ожидать, что он будет иметь значение некоего прорыва.

3. Возрастают сомнения относительно способности корпоративного капитализма, как бы его ни поддерживало и как бы им ни управляло либеральное государство, удовлетворять ожидания потребителей по старому, т.е. с нынешним уровнем неравенства. Эти сомнения небезосновательны, и их основанием является присущее капитализму противоречие, которое нельзя бесконечно игнорировать.

Капитализм порождает неравенство и потребительское сознание, и он должен это делать, чтобы функционировать. Но его растущая способность производить товары и развлечения имеет своей оборотной стороной растущую потребность в более широком их распространении. Если люди не могут купить товары, нет никакой выгоды в их производстве. Эту дилемму можно было какое-то время игнорировать, поддерживая холодную войну и колониальные войны: пока публика будет их поддерживать, она, т.е. потребители, будет покупать все, что может быть с выгодой произведено, и с удовольствием потреблять. Это продолжается уже в течение длительного времени, но существует, по крайней мере, перспектива того, что такое положение дел не будет бесконечно поддерживаться как нормаль-

ное. Если оно не будет поддерживаться, тогда система либо будет вынуждена распространять товары более широко, что снизит социальное неравенство, либо она развалится и потому не сможет больше порождать неравенство и потребительское сознание.

Эта дилемма капитализма сегодня является гораздо более напряженной, чем в XIX в., когда капитализм имел колоссальную отдушину в виде континентальной и колониальной экспансии. Эта дилемма, в сочетании с изменением общественного понимания соотношения затрат и отдачи всей системы, помещает капитализм совсем в иную ситуацию по сравнению с той, что имела место во времена Милля и Маркса.

Капитализм во всех странах Запада в 1970-х годах переживает экономические трудности, близкие к кризисной ситуации. И конца этому не видно. Кейнсианские рецепты, успешно применявшиеся на протяжении трех десятилетий с конца 1930-х годов, сегодня с очевидностью не могут помочь справиться с лежащим в основе капитализма противоречием. Наиболее явный симптом этой неудачи — повсеместно и одновременно наблюдаемый высокий уровень как инфляции, так и безработицы — двух вещей, которые обычно считались альтернативными. Для наемных работников обесценивание их заработков наряду с угрозой лишиться работы представляет серьезную проблему. Это уже привело к росту воинственности рабочего класса, проявляющейся в различных формах: в одних странах — к увеличению политической активности и мощи коммунистических и социалистических партий; в других — к активизации участия в профсоюзном движении и иных формах вовлеченности в производственную деятельность. Профсоюзам все чаще придется не только заниматься вопросами доли труда в национальном доходе, но и признавать структурную недостаточность управляемого капитализма. Нельзя

сказать, что профсоюзные лидеры в целом уже это увидели, но на них все большее давление оказывают деятельность рабочих представителей и неофициальные забастовки. Можно ожидать, что участие рабочего класса в политической и промышленной деятельности возрастает и будет при этом все более классово осозанным. Имеется вероятность, что промышленная деятельность, примеров которой уже немало, будет рассматриваться как принципиально *политическая*, а потому, независимо от того, примет ли она форму участия в формальном политическом процессе или нет, будет способствовать росту политического участия.

Итак, мы имеем три слабых места в порочном круге: растущее осознание цены экономического роста, растущее осознание цены политической апатии и увеличивающиеся сомнения в том, что корпоративный капитализм способен удовлетворить потребительские ожидания, продолжая порождать неравенство. И о каждом из этих слабых мест можно сказать, что оно способствует (так, как мы это описали) возможному возникновению условий демократии участия: вместе они ведут к упадку потребительского сознания, к снижению уровня классового неравенства и к росту нынешнего политического участия. Таким образом, перспективы, касающиеся движения к более демократическому обществу, не столь безрадостны. Продвижение к нему в одно и то же время требует увеличения меры участия и побуждает к такому участию. И все это сегодня находится в рамках возможного.

Прежде чем закончить это обсуждение возможности продвижения к демократии участия, я должен подчеркнуть, что искал лишь возможные, хотя бы и с малой степенью вероятности, пути вперед. Я не пытался оценить шансы этого движения, утверждая, что они больше или меньше, чем 50 на 50. И если начать думать о тех силах, которые противостоят таким переменам,

можно прийти к выводу, что таких шансов никак не больше, чем 50 на 50. Достаточно лишь подумать о власти транснациональных корпораций; о вероятности все большего проникновения во внутренние дела секретных разведывательных служб, как американское ЦРУ, которым было правительствами позволено и от которых даже требуют включать в «разведку» такую деятельность, как организация вторжений в одни малые государства и помощь в свержении неугодных правительств в других; и о все большем использовании политического терроризма со стороны оскорбленных меньшинств правого и левого толка, что оправдывает сползание правительств к практике полицейского государства и даже обеспечивает серьезную поддержку полицейского государства со стороны населения. В этом отношении можно только заметить, что либерально-демократические правительства с неохотой открыто применяют насилие в широких масштабах, разве что очень недолго, против каких-либо народных движений у себя дома, имеющих широкую поддержку: это понятно, потому что может случиться и так, что нельзя будет положиться на армию или полицию, когда, с точки зрения правительства, возникнет в этом нужда.

На менее тревожном уровне существуют иные факторы, которые могут препятствовать необходимому уменьшению классового неравенства. Передовые западные экономики могут снизить темпы развития и прийти к стационарному состоянию (когда не будет экономического роста в силу отсутствия стимулов к образованию новых капиталов) прежде, чем народное давление приведет к уменьшению нынешнего классового неравенства: это сделает более трудным дальнейшее его уменьшение. И сохранение даже нынешнего западного уровня изобилия станет невозможным, если некоторые из развивающихся стран

смогут, используя ядерный шантаж или иные способы, навязать перераспределение доходов между богатыми и бедными нациями. Такое глобальное перераспределение сделает еще более трудным какое-либо значительное уменьшение классового неравенства в богатых странах⁸.

У меня нет достаточных эмпирических свидетельств, позволяющих судить об относительной мощи тех сил в нашем обществе, которые или склоняются в пользу, или выступают против движения к демократии с большим участием. Поэтому мои рассуждения о том, что может способствовать этому движению, следует воспринимать не как пророчество, но лишь как указание на имеющиеся возможности.

3. МОДЕЛИ ДЕМОКРАТИИ УЧАСТИЯ

В завершение обратимся к вопросу о том, как может функционировать демократия участия в случае достижения требуемых условий. Насколько уместно в данном случае говорить об участии, если иметь в виду, что на всех уровнях, кроме самого ближайшего, это будет непрямая, или представительная, система, а не прямая демократия «лицом к лицу»?

Модель 4А: первое абстрактное приближение

Если посмотреть на этот вопрос в целом, оставляя за скобками как давление традиции, так и конкретные обстоятельства, которые могут сложиться в какой-либо стране к тому моменту, когда необходимые условия будут налицо, самой простой моделью, заслужи-

⁸ Ср.: Heilbroner R.L. An Inquiry into the Human Prospect. 2nd ed. N.Y., 1975. Ch. 3, где утверждается, что по указанным причинам западные страны вряд ли смогут сохранить даже нынешнюю степень либеральной демократии.

вающей того, чтобы назвать ее демократией участия, будет пирамидальная система с прямой демократией в основании и делегированной демократией на каждом более высоком уровне. Таким образом, все начинается с прямой демократии на уровне определенной территории или фабрики — действительная дискуссия лицом к лицу и принятие решений консенсусом или большинством, а затем идет избрание делегатов, которые будут составлять совет на следующем, более емком уровне — скажем, на уровне городского района, небольшого городка или иного населенного пункта. Делегаты будут в достаточной степени проинструктированы избирателями и им подотчетны, чтобы принимать вполне демократические решения на уровне совета. И так все должно быть вплоть до верхнего уровня, которым будет национальный совет для рассмотрения вопросов общенационального значения, а кроме того, будут местные и региональные советы для рассмотрения вопросов, соответствующих их компетенции. На любом уровне принятия окончательных решений, который выше самого нижнего, проблемы, без сомнения, должны формулироваться комитетом соответствующего совета. Таким образом, на каком бы уровне ни происходило решение вопроса, оно будет производиться небольшим комитетом совета этого уровня. Это может показаться весьма далеким от демократического контроля. Но я думаю, это лучшее, что мы можем сделать. Что необходимо на каждом уровне, чтобы сделать систему демократической, так это добиться того, чтобы те, кто принимает решения и формулирует вопросы и кто избран на более низком уровне, несли ответственность перед низшими посредством переизбрания или даже отзыва.

Далее, такая система, вне зависимости от того, насколько ясно прописана ответственность на бумаге, даже если это формальная национальная конститу-

ция, не является гарантией эффективного демократического участия или контроля: о советском «демократическом централизме», который представляет как раз такую схему, нельзя сказать, что он обеспечивает демократический контроль, который этой схемой предполагался. Вопрос в том, является ли этот недостаток внутренне присущим природе пирамидальной системы советов? Я думаю, что не является. Полагаю, что можно обозначить ряд обстоятельств, при которых система не будет работать так, как задумано, т.е. не будет обеспечивать адекватную ответственность перед нижестоящими, не будет действительно демократической. Три таких обстоятельства очевидны.

1. Пирамидальная система не будет обеспечивать реальной ответственности правительства перед всеми более низкими уровнями в переходной постреволюционной ситуации; во всяком случае, это невозможно, если сохраняется угроза контрреволюции, с помощью иностранной интервенции или без нее. Ибо в этом случае демократический контроль со всеми его задержками должен уступить дорогу центральной власти. Таков урок периода, непосредственно следующего за большевистской революцией 1917 г. Другой урок, который нам дает последующий советский опыт, заключается в том, что если революция не может сделать то, за что она взялась, демократическим путем, она будет делать это недемократическими способами.

Далее, если мы в западных демократиях не собираемся пытаться прийти к полной демократии посредством большевистской революции, это не создает для нас трудностей. Однако мы должны иметь в виду, что угроза контрреволюции существует не только после большевистской революции, но также и после парламентской революции, т.е. конституционного, в результате выборов, прихода к власти партии или народного фронта, обещавшего радикальную реформу,

ведущую к отмене капитализма. О том, что эта угроза может быть вполне реальной и фатальной для конституционного революционного режима, старающегося действовать демократически, свидетельствует пример контрреволюционного свержения в 1973 г. в Чили режима Альенде через три года после его прихода к власти. Поэтому мы должны задаться вопросом, могут ли чилийские события повториться в какой-либо из более развитых западных либеральных демократий. Может ли произойти нечто подобное, скажем, в Италии или во Франции? Если может, тогда шансы демократии участия в любой из этих стран весьма призрачны.

Нет никакой уверенности, что такое произойти не может. Мы не можем уповать на то, что в Западной Европе имеется более продолжительная традиция конституционализма, чем в Латинской Америке: на самом деле, в тех европейских либеральных демократиях, в которых существует наибольшая вероятность такого развития событий в недалеком будущем (т.е. в Италии и Франции), традиция конституционализма немногим дольше и устойчивее, чем в Чили. Однако мы должны учитывать, что народный фронт Альенде контролировал только часть исполнительной власти (президентство, но не *contraloria*, которая контролировала законность любых действий исполнительной власти) и не имел контроля над законодательной властью (включая нормы налогообложения). Если где-либо еще подобное правительство будет иметь более широкую базу, оно сможет действовать демократическим образом без риска быть свергнутым в результате контрреволюции.

2. Пример других обстоятельств, в которых ответственная пирамидальная система советов не будет работать, — это выход на поверхность внутреннего классового разделения и противостояния. Ибо, как мы видели, это разделение требует, чтобы политиче-

ская система ради консолидации общества выполняла функцию достижения постоянного компромисса между классовыми интересами, а эта функция делает невозможными ясную и серьезную ответственность высших избранных уровней перед низшими.

Но это тоже, как представляется, не составляет для нас большой проблемы. Ибо если мой предыдущий анализ верен, у нас не будет возможности установить такую ответственную систему, пока мы не уменьшим в значительной степени нынешнее социальное и экономическое неравенство. Верно, что это возможно только в той степени, в какой отношения труда и капитала, доминирующие в нашем обществе, будут изменены, причем принципиально, поскольку капиталистические отношения производят и воспроизводят противоположные классы. Никакое перераспределение дохода государством всеобщего благосостояния само по себе не изменит эту ситуацию. Равно как и никакой рабочий контроль (или участие рабочих) на уровне цеха или завода: это многообещающее явление, но таким образом нельзя достичь поставленной цели. Полностью демократическое общество предполагает демократический политический контроль над тем, как используются накопленный капитал и оставшиеся природные ресурсы. Возможно, в данном случае не столь важно, принимает ли это форму общественной собственности на весь капитал или форму настолько всестороннего общественного контроля над ним, что последний, по существу, представляет собой то же, что и собственность. Но увеличения степени перераспределения национального дохода государством всеобщего благосостояния недостаточно: независимо от того, насколько это может уменьшить классовое неравенство в отношении к доходу, это не затронет классового неравенства в отношении к власти.

3. Третье обстоятельство, которое не позволит пирамидальной системе советов работать, — это, конечно, апатия людей в ее основании. Такую систему могут установить только сами люди, избавившиеся от политической апатии. Но не может ли апатия возникнуть снова? Нет никаких гарантий, что этого не произойдет. Однако по крайней мере один фактор, который, как я показывал, порождает и поддерживает состояние апатии в нашей нынешней системе, будет гипотетически отсутствовать или сильно изменится. Я имею в виду классовую структуру, которая препятствует участию представителей низших страт, поскольку делает это участие относительно неэффективным, а в более общем плане не способствует такому участию потому, что проблемы оказываются настолько размытыми, что правительство нельзя считать действительно ответственным перед электоратом.

Подводя итог обсуждению перспектив пирамидальной системы советов как модели демократии участия, можно сказать, что по мере того как в любой из западных стран будут складываться необходимые условия для перехода к системе участия, наиболее очевидные препятствия для превращения пирамидальной системы советов в подлинно демократическую будут исчезать. Пирамидальная система может заработать. Или же возникнут другие препятствия, не позволяющие ей быть вполне демократической. О последних говорить не имеет смысла, так как эта простая модель является слишком нереалистичной. Она может быть лишь первым приближением к работающей модели, потому что, описывая ее, мы сознательно оставили в стороне то, на что теперь следует обратить внимание: силу традиции и актуальные обстоятельства, которые будут доминировать в любой из западных стран в то время, когда переход станет возможным.

В данном случае наиболее важный фактор — это существование политических партий. Описанная нами простая модель не оставляет для них места. Она предполагает беспартийную или однопартийную систему. Это было вполне уместно, когда такая модель выдвигалась в революционной ситуации — в Англии в середине XVII в. и в России в начале XX в. Но это неуместно, когда речь идет о западных странах в конце XX в., потому что маловероятно, что какая-то из этих стран двинется в сторону демократии участия посредством однопартийного революционного переворота. Гораздо более вероятно, что такое движение будет происходить под руководством народного фронта или коалиции социал-демократических и социалистических партий. Эти партии не придут в упадок, по крайней мере, в течение какого-то числа лет. Если все они, за исключением одной, не будут уничтожены силой, то рассчитывать на исчезновение партий не приходится. А потому настоящий вопрос заключается в том, есть ли возможность соединения пирамидальной структуры советов с конкурентной партийной системой.

Модель 4Б: второе приближение

Соединение пирамидального прямого/непрямого политического механизма с существующей партийной системой представляется весьма важным. Только пирамидальная система сможет инкорпорировать элементы прямой демократии в общенациональную структуру управления, а для того, что может быть названо демократией участия, необходима значительная доля прямой демократии. В то же время следует допустить существование конкурирующих политических партий, чьи притязания, в соответствии с тем, что именуется либеральной демократией, не могут быть попораны.

Сочетание пирамиды и партий, по всей видимости, не только неизбежно: оно может быть позитивным и желательным. Ибо даже в обществе, где нет классового разделения, все равно будут оставаться вопросы, вокруг которых могут образовываться партии, и даже, возможно, они будут нужны для того, чтобы вопросы формулировались и обсуждались. Это такие вопросы, как общее распределение ресурсов, городское планирование, состояние окружающей среды, демографическая и миграционная политика, внешняя политика, военная политика⁹. И теперь, предположив, что система конкурирующих партий либо неизбежна, либо действительно желательна в обществе без эксплуатации и классового разделения, возникает вопрос: совместима ли такая система с пирамидальной прямой/непрямой демократией?

Думаю, что совместима. Ибо основная функция, которую система конкурирующих партий должна выполнять и выполняет в классово разделенном обществе до сего дня, т.е. размывание классового противостояния и постоянное достижение компромиссов между требованиями противостоящих классов, больше не будет актуальна. Но именно эти черты системы конкури-

⁹ Стоит заметить, что в Чехословакии весной и летом 1968 г., как раз перед тем, как реформистский коммунистический режим Дубчека был свергнут в результате советской военной интервенции, одним из широко дебатировавшихся вопросов было предложение улучшить политическое качество политической системы посредством введения системы конкурирующих партий, и эта идея получила серьезную общественную поддержку, включая и представителей правящей коммунистической партии. Опрос общественного мнения, проведенный в июле, показал, что 25% опрошенных членов компартии и 58% беспартийных желали появления одной или нескольких партий; августовский опрос, где вопрос был сформулирован двусмысленно, дал соответственно 16 и 35% (*Skilling H.G. Czechoslovakia's Interrupted Revolution. Princeton, 1976. P. 356-372, 550-551*).

рующих партий делали ее до сего дня несовместимой с какой-либо эффективной демократией участия. Как только эта функция отпадает, исчезает и несовместимость.

Теоретически существуют два возможных пути соединения пирамидальной организации с конкурирующими партиями. Один, гораздо более трудный и потому маловероятный (и не заслуживающий здесь особого внимания), состоит в том, чтобы заменить существующую западную парламентскую или парламентско-президентскую систему управления структурой советского типа (которую можно себе представить даже с двумя или более партиями). Другой, гораздо менее трудный, заключается в том, чтобы сохранить существующую структуру управления и опираться на сами партии, действующие в рамках пирамидального участия. Верно, как я говорил ранее, что все множественные попытки реформистских демократических движений и партий добиться того, чтобы их лидеры, ставшие членами правительства, отвечали перед рядовыми членами, потерпели неудачу. Но причина этих неудач исчезнет в тех обстоятельствах, которые мы рассматривали, или, по крайней мере, не будет иметь той же силы. Причина этих неудач состояла в том, что строгая ответственность партийных лидеров перед членами партии не оставляла поля для маневра и компромисса, которое должно быть у правительства в классово разделенном обществе, чтобы правительство могло исполнять необходимую функцию посредника между противоположными классовыми интересами, существующими в обществе. Без сомнения, даже в бесклассовом обществе все еще сохранится некоторое пространство для компромисса. Однако пространство, необходимое для компромисса по таким вопросам, которые в этой ситуации будут разделять партии, не может быть столь же большим, как то, которое необходимо сегодня.

А кроме этого, будет отсутствовать тот элемент обмана и сокрытия, который нужен сейчас для постоянного размывания межклассовых границ.

Таким образом, представляется, что есть реальная возможность существования партий с подлинным участием и что они смогут функционировать в рамках парламентской структуры и при этом обеспечивать существенный уровень демократии участия. Это, я думаю, все, что можно сейчас сказать относительно ее перспектив.

4. ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ КАК ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ?

Остается один вопрос: можно ли эту модель демократии участия назвать моделью либеральной демократии? Думаю, что можно. Ясно, что она не диктаторская или тоталитарная. Гарантия этого — не существование альтернативных партий, потому что можно ожидать, что спустя несколько десятилетий они исчезнут в условиях большей полноты и широты возможностей для гражданского участия, не связанного с политическими партиями. В этом случае мы должны перейти к Модели 4А. Гарантия — скорее предположение, что ни один из вариантов Модели 4 не сможет существовать или продолжать существовать в реальности без твердого и широко распространенного осознания ценности того либерально-демократического принципа, который является центральным для Модели 2, т.е. равного права каждого мужчины и каждой женщины на полноценное развитие и использование своих способностей. И конечно, сама возможность реализации Модели 4, как говорилось во втором разделе этой главы, связана также с отвержением рыночных представлений о природе человека и общества, с отказом от образа человека как максимального потребите-

ля и со значительным преодолением нынешнего экономического и социального неравенства. Такого рода изменения сделали бы возможными восстановление и даже реализацию центрального этического принципа Модели 2; и они не будут логически исключать обозначение Модели 4 как «либеральной» (по указанным выше причинам¹⁰). Пока сохранится твердое сознание высокой ценности равного права на саморазвитие, Модель 4 будет вполне соответствовать лучшим чертам традиции либеральной демократии.

¹⁰ См. заключительную часть главы 1 настоящей книги.

ОБ АВТОРЕ

Крафорд Брафф Макферсон (1911–1987) родился 18 ноября 1911 г. в Торонто. В 1932 г. он получил степень бакалавра в Университете Торонто, а в 1935 г. окончил магистратуру в Лондонской школе экономики, защитив диссертацию о профсоюзах в Великобритании, написанную под руководством известного политического теоретика Гарольда Ласки.

По возвращении в Канаду Макферсон получил место преподавателя политической теории на отделении политической экономики Университета Торонто, где проработал вплоть до своей отставки в 1977 г. В 1941–1943 гг. он некоторое время работал в Бюро информации военного времени в Оттаве, а затем в Университете Нью-Брансуика, подменяя профессора экономики и политических наук. Вернувшись в Университет Торонто, Макферсон еще шесть лет был преподавателем, а затем стал помощником профессора. Пожизненный контракт и должность профессора он получил только после публикации своей первой книги «Демократия в Альберте» (*Democracy in Alberta*. Toronto: University of Toronto Press, 1953), посвященной классовому анализу уникальной «квазипартийной» системы правления, которая сложилась в этой канадской провинции с начала 1920-х годов.

Подлинная известность пришла к Макферсону с публикацией его работы «Политическая теория собственнического индивидуализма» (*The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*. L.: Oxford University Press, 1962), в которой впервые была последовательно изложена история и критика основного положения либеральной политической философии, вынесенного в заглавие книги. Макферсон связывал рождение «собственнического индивидуализма» с английской по-

литической мыслью XVII столетия — от Гоббса через левеллеров и Гаррингтона к Локку, — в которой индивид предстал «собственником своей собственной личности и способностей, ничем не обязанным обществу за них», а само общество начало представлять собой лишь совокупность «отношений обмена между собственниками». Эта книга сразу же вызвала множество полемических, но в целом весьма положительных откликов от представителей самых различных лагерей политической философии. В своих последующих работах (*The Real World of Democracy*. Toronto: Canadian Broadcasting Corporation, 1965; *Democratic Theory: Essays in Retrieval*. L.: Oxford University Press, 1973; *The Rise and Fall of Economic Justice and Other Papers*. Oxford: Oxford University Press, 1985) Макферсон продолжил критику концепции «собственнического индивидуализма» и ее современных последователей, а также попытался предложить возможную политическую альтернативу существующему либерально-демократическому государству. Однако его критика либеральной демократии всегда была своего рода «внутренней» критикой, а сам он неизменно относил себя к «тем, кто принимает и распространяет нормативные ценности, которые были привнесены в либерально-демократическое общество и государство Дж.С. Миллем и теоретиками-идеалистами XIX–XX столетия». Книга Макферсона «Жизнь и времена либеральной демократии» (1977) оказала большое влияние на знаменитые «Модели демократии» (1987) Дэвида Хелда.

За вклад в историю идей Макферсон был принят в Королевское историческое общество (1973) и награжден высшей гражданской наградой Канады — орденом Канады (1976). В 1994 г. Канадская ассоциация политических наук учредила в его честь премию, вручаемую раз в два года за исследования, отвечающие идеалам науки, которые олицетворял Макферсон.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ

ИД ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ДОМ

Всё о наших изданиях

id.hse.ru/books
id.hse.ru/catalogue

Отдел реализации

тел./факс: (495) 772-95-71,
772-95-90*41-39 или 41-40
e-mail: bookmarket@hse.ru

«Книга — почтой»

id.hse.ru/pochta

Университетский книжный магазин «БукВышка»

Москва, ул. Мясницкая, 20,
тел.: (495) 628-29-60
id.hse.ru/bookshop
e-mail: books@hse.ru

Научное издание
Серия «Политическая теория»

МАКФЕРСОН К.Б.

ЖИЗНЬ И ВРЕМЕНА ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Главный редактор
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Заведующая книжной редакцией
ЕЛЕНА БЕРЕЖНОВА

Художник
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Верстка
ЮЛИЯ ПЕТРИНА

Корректор
ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
125319, Москва, Кочновский проезд, д. 3
Тел./факс: (495) 772-95-71

Подписано в печать 24.11.2010. Формат 84×108/32
Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 7,5
Печать офсетная. Тираж 1000 экз.
Изд. №1231. Заказ №

Отпечатано в ГУП ППП
«Типография „Наука“»
121099, Москва,
Шубинский пер., 6

ISBN 978-5-7598-0760-3



9 785759 807803

К. Б. Макферсон

Жизнь и времена
либеральной
демократии



В

ВЫСШАЯ

ШКОЛА

ЭКОНОМИКИ